

СИБИРИАДА

ВАЛЕНТИНА
СИДОРЕНКО



СТРАСТОТЕРПИЦЫ

Сибиряда

Валентина Сидоренко

Страстотерпицы

«ВЕЧЕ»

2020

Сидоренко В. В.

Страстотерпицы / В. В. Сидоренко — «ВЕЧЕ»,
2020 — (Сибириада)

ISBN 978-5-4484-8258-8

Валентина Васильевна Сидоренко родилась и живёт в Иркутске. Её творчеству свойственны естественность повествования, живой народный язык и высокий исповедальный накал. Представленные повести и рассказы написаны во второй половине XX века и живо отображают свое время с его победами и трагедиями. В новом романе «Страстотерпицы» выведены судьбы трёх поколений женщин, чьи буйные натуры подменяют истинную любовь сиюминутными страстями и погоней за собственным иллюзорным счастьем.

ISBN 978-5-4484-8258-8

© Сидоренко В. В., 2020

© ВЕЧЕ, 2020

Содержание

Рассказы	6
В сентябре	6
Возвращение	11
Марька	23
Проводницы	34
Повести	40
Сок подорожника	40
Шестидесятники	82
Конец ознакомительного фрагмента.	88

Валентина Сидоренко

Стратотерпицы

Знак информационной продукции 12+

© Сидоренко В.В., 2020

© ООО «Издательство «Вече», 2020

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2020

Сайт издательства www.veche.ru

Рассказы

В сентябре

В приятном расположении духа Григорий Андреевич любил полежать на полу и, глядя на взбухшую штукатурку потолка, поразмышлять: «Если про мою жизнь прописать – это какая книга будет! Великая, можно сказать... Это тебе не какая-нибудь там брехаловка. Оно таких книг сроду еще не было. Потому как я человек... И притом коренной грузчик».

Возможно, Григорий Андреевич в часы, милые его сердцу, избрал бы другую тему для размышлений, не случись из его сына журналиста. Какой из Тимки журналист, Григорий Андреевич не мог знать, но факт оставался фактом, Тимофей работал в газете. Стало быть, человек он важный, и хоть и спорил иногда с отцом и имел материнские замашки, его уважать должны. И потому при случае Григорий Андреевич очень даже умел заметить соседу Ивану, человеку пустому, хоть и жадному:

– Ты много-то не кобенься. Скажу Тимошке, он всю морду твою рябую в газете размалюет. Потому как ты – сволочь. Я тебе прямо говорю. Вот выставлю твой портрет на народ. Тогда у меня попляшешь.

Однако до Тимофея такие соображения отца не доходили, потому что свое журналистское счастье он искал где-то далеко на Севере, писал отцу редко, а заезжать и вовсе забыл.

Григорий Андреевич таким оборотом дела смущался несильно. Он управлял своим немудреным хозяйством, правда, понемногу выпивал.

Раньше, когда жена живая была, держали они и утей, и курей, и поросят откармливали, и в огороде Надежда умела и посадить, и вырастить, так что хозяйство у них было полное, сытое, деревенское. Еще и после смерти ее Григорий Андреевич пытался сохранить все как было, но получилось так, что рассыпалось их хозяйство, словно из прорехи в мешке.

Утки по осени взяли моду не возвращаться во двор, Григорий Андреевич лазил дотемна по болоту в камышах, матерился на чем свет стоит, кидал в стаю палками, но ни одной так и не пригнал. Только простуду себе нажил. Он махнул на уток рукой и разводить их больше не стал. Куры зимой у него перемерзли: в неожиданный мороз он не догадался протопить в стайке. А смородину и малину в тот год, как помереть Надежде, местная орда обобрала и обломала. Так что остановился Григорий Андреевич на собаках, в частности, здоровом черном кобеле, жившем у него пятый год, да на кошках – вот все его хозяйство. Пенсию Григорий Андреевич получал хорошую – сто двадцать рубчиков чистенькими, чем очень гордился перед Иваном, который, по его словам, всю жизнь в конторе себе геморрой наживал, а потому к старости пришелся ему крупный кукиш. Все бы шло гладко в одинокой жизни, если бы не месяц сентябрь: всякий сентябрь Григорий Андреевич тосковал страшно.

Как чуть заблестит по земле тенета, да деревья обмякнут, да дикие утки начнут первые учебные перелеты, собирая оперившихся юнцов в крикливо-бестолковые стайки, Григорий Андреевич все реже появлялся на улице, а встречаясь со знакомыми, старался не заговаривать сам и, не дай бог, отвечать на расспросы. Не до того ему было... Чтобы ему не мешали, на сентябрь месяц увольнялся он с работы (Григорий Андреевич подрабатывал сторожем), круглые сутки не отворял ставни и спускал с цепи кобеля.

Просыпался обычно рано, когда на дворе темно и за плотными ставнями хоть глаз выколи.

– Здорово, Григорий Андреевич! – приветствовал сам себя и начинал знакомую всем одиноким людям говорильню.

Кроме как с собой, разговаривал со всем, что попадется ему на глаза, о житье-бытье, о том, что раньше, конечно, не в пример нынешнему, лучше жилось, а сейчас все норовит иссохнуть, растрескаться и вообще исчезнуть к чертям с этого бестолкового, неуживчивого белого света.

– Значит, здорово, – отвечал он себе и толкал ногой спящего кота Ангела и щенка, свернувшегося клубочком на постели, – трусливого и слюнявого, который и имени-то еще не удостоился.

– Вставайте, твари!

Спать один Григорий Андреевич не мог – любил, чтоб рядом с ним лежало непременно живое, дышащее, по возможности мягкое. Ангел – кот бывалый, хорошо знает, что может означать каждое движение хозяина, и потому хлопот с ним немного; щенок же суетлив по неопытности, страсть как надоедлив, визжит, где надо и не надо, и его приходится частенько учить уму-разуму. Животину Григорий Андреевич любил всякую, не брезговал никакой. Из всех подворотен, помоек подбирали он бесчисленных котят, кошек, бродячих собак, ободранных и тоскливых, всех тащил к себе в дом. Все, кроме Ангела, откармливались, хорошели и исчезали бесследно, оставляя яростно ворчавшего хозяина, который сильно подозревал, что его животину крадет зануда Иван и таскает на живодерню, где за кошку полтора рубля дают, и за собаку – три...

Затем Григорий Андреевич вставал и шлепал из двери в дверь в одних кальсонах, свисавших с его скрипучих, худых ног. Он растоплял печь и ставил на плиту чугунок с картошкой. Когда уж совсем светало, Григорий Андреевич выходил во двор, ежился от сиротливого сентябрьского утренника и, завидев в дымчатом небе одинокую стайку уток, мрачно махал рукой:

– Полетели.

Если же птиц не было и небо, как громадная чаша, было серебристым и тугим, он все равно махал рукой и говорил: «Полетели», – смекая, что коли не полетели, так полетят. Самая пора для них.

Заглянув в щелочку забора на огород соседа Ивана, Григорий Андреевич ревниво обозревал, собрал тот, нет ли лук с гряды, и, оглядывая крупные, уже побелевшие головки, раздумывал, почем же сосед будет продавать этот лук.

Григорий Андреевич – мужчина аккуратный, порядок уважал; с утра каждодневно убирал он тщательно в доме, мыл частенько полы, подбеливал, где надо, и стирал. Управившись, учил жизни щенка, заодно доставалось и коту Ангелу. Потом им обоим жаловался на жизнь, вспоминал своего напарника Федора, что сменил его однажды на три часа позже, соседскую хохлатку в рыжую крапинку, которая, обнаглев, перелетела в его огород, сестру Анну, спрятавшую на днях новые ботинки, продавщицу в магазине, обсчитавшую его на пятнадцать копеек, и картошку, которая нынче не уродилась, как ее ни охаживай. Свою длинную речь Григорий Андреевич прерывал словами: «Ты слышишь меня?» – и оглядывался на портрет жены, висевший в красном углу, откуда она глядела на него молодыми терпеливыми глазами.

– Чтоб тебя разнесло, подлюга, вдребезги! – сердился Григорий Андреевич на щенка. – Хлеба, видишь ли, жрать не хочет! Нет, ты слышишь меня, думает, я его мясом кормить буду. Да я тебя за эти деньги сам сожру, окаянный. Да чтоб я провалился на том месте, где подобрал тебя, собака ты неблагодарная. – Его живучее тело тряслось, пушистые волосы развевались.

– Нет, ты слышишь меня, я из-за него в очередь, как баба, встану. Вон из дома, сатана. Чтоб духу твоего не было. Да слышишь ты меня или нет, в конце-то концов?!

– Слышу, – ровно отозвалась жена.

При жизни она была терпеливою, как будто и саму-то жизнь терпела, и Григорию Андреевичу поперек слова не сказала. Он, бывало, поддразнивал ее даже, чтоб разозлить, а она только тыкнет его мягким кулаком в затылок, упрекнет обиженно:

– Ну чего, чего разошелся-то... бессовестный?

Померла Надежда без болезни, а может, и болела – ему не докладывала и по больницам не ходила. Так с недельку таяла, таяла, все лежала, смотрела на него сожалеюще, а перед смертью совсем уж призналась:

– Помру я, наверно, Гриша. Ты уж живи хорошо, чтоб мне оттуда на тебя смотреть не совестно было.

Он тогда с горя не понял, что к чему, а уж после, поразмыслив, обиделся: это значит, ты живи, а она на тебя вроде смотреть будет?!

Григорий Андреевич сам не болел никогда и в близкую смерть не очень верил. Он считал – раз не болеешь, то так просто не умрешь, а потому на жену обиду терпел.

Григорий Андреевич взял за шиворот щенка и, выбросив его во двор, плотно прикрыл дверь.

– Разбила ты мне жизнь, Надежда. И что тебе здесь не по нраву? А мне – живи теперь как хошь.

– Помирать все одно надо, – слышалось ему. – В один бы час мы не легли. Кто-то остался бы.

– Так-то оно так. – Григорий Андреевич почесал в затылке. – Рано все-таки ты отошла, Надька. Вот Тимофей бы женился, тогда и валяй... А теперь что?.. Он – хвост трубой, и ищи ветра в поле. Я, как бабай, один хожу. Женюсь я, Надежда. Как ты на это посмотришь?

– Женись, – соглашалась она. – Только портрет мой сыми. Чтоб не смотреть мне на вас.

– Ладно, сыму...

Голос у нее был мирный, несуетливый, и Григорий Андреевич ясно вспоминал его каждый сентябрь. А почему сентябрь? Потому что в сентябре они поженились, в сентябре Тимка родился, и в сентябре, как он считал, воздуху совсем нет, а хорошо слышно родную душу.

Григорий Андреевич щурил глаза, продолжал разговор:

– Птица уже полетела. Да не густо. Видать, тепло еще постоит. Хлеб, говорят, не уродился. Сухо было, значит, – перечислял он еще.

– Хлеб не уродился – это плохо, – вздыхала она, – недоглядели. Земля-то тепла еще?

– Земля теплая... Начальник мой ровно взбесился, говорит, не пущу в отпуск, караулить, вишь, некому. Отставной, а ругается не хуже меня... Степка Крапива опять с Александровой женой гуляет. Который у Афанасьевых жил, помнишь, что ль? Сашка уж и бил его, заразу. Да мало. Ему бы ноги переломать, чтоб по чужим бабам не шастал.

Во дворе залаяла собака. Григорий Андреевич открыл дверь, прислушался, вернулся опять к портрету.

– Баб тоже надо иногда, – вздохнула она, – чтоб себя помнили. Да что ж у тебя темно, как в погребу, свету белого не видишь...

Григорий Андреевич волновался:

– А мне ничего. Ты же не приходишь при свете. Да в темноте и думается лучше.

Единственное окно, ставни которого не закрывались, просеивало в дом тусклый, печальный свет. Из окна можно было видеть черного кобеля, бродившего по двору, он готовно востриг уши, вздрагивал, будто знал об их разговоре и оберегал его; дальше, за забором, за огородом с заскорузлой картофельной делянкой и красивым молодым тополем, сквозным и желтым от света, расстилалось серое болото, на краю которого стоял дом Григория Андреевича, а еще дальше виднелись какие-то постройки, черные, с густо-дегтярным дымом из труб.

– Ты, Гриша, случаем не болеешь? – слышалось ему, и Григорий Андреевич бурчал:

– Чего болеть-то? Маюсь только вот, считай, каждый сентябрь. Горюю. Да, кабы все с горя помирали, земля бы, как яйцо, гладкая стала. А ты что же, не боишься за меня? Место-то мне там найдется ли, нет?

Она как бы смеялась ровно и тихо.

– Найдется, – отвечал себе Григорий Андреевич. – Земля – что прорва. Она вон в себе сколько веков прячет. Это ума не хватит понять. Да я ей, поди, еще нужен. Кошку накормлю, обогрею – и то польза.

Он стоял у окна, широко расставив ноги, ссутулив плечи. Подошел кот Ангел, выгибая спину, потерся о жесткую ногу и, с достоинством подняв хвост, удалился.

– Ты слышишь меня? – Старик отвернулся от окна. – Помнишь, как Тимке родиться, дед к нам на квартиру просился. Я его не пустил еще. Так его часто во сне вижу. Придет, сядет, говорит, обидел ты меня – не пустил. Жив ли он, нет? Сколько лет прошло. Ты его не встречала там?

Она не ответила. Григорий Андреевич крикнул, почесал пузо и не то улыбнулся, не то оскалился.

– А ты помнишь, Надька, как мы однажды в сентябре с тобой по бруснику ходили? Господи, воля твоя. – Он скрипуче засмеялся. – Лес-то какой стоял! Гольцы, помню, розовые... Задержаться хотелось хоть на минутку, отдохнуть. А помнишь, как мы к речушке вышли, синющая речушка. И бывают же такие! Это где, постой?... Это где мы с тобой чай варили! Ну да! А помнишь, как мы с тобой аукались? Ты – в низине, я – вверху. Аукались, и заяц пробежал. Как мышь, такой серый. Точно, заяц пробежал, – обрадовался Григорий Андреевич. – Надь, а я помню, какой платок на тебе был. Синий, в клетку. Ты его порвала потом, палец мне перевязывала. Надь, а ты помнишь, какой я-то был?

– Ты красивый был, Гриша. Прямо загляденье. И не знаю, как ты не бросил меня ради какой. Вот всю жизнь этого боялась.

– Правда? – удивился он и взмахнул руками. – Правда, Надь? А я жениться собрался. Нет, это так, это я ради затравки сказал, куды я без тебя? Ты ведь не придешь тогда вовсе.

Он немного помолчал.

Во дворе злобно завыл, залаял пес, потом смолк. Дверь широко распахнулась, и в избу ввалилась сестра Григория Андреевича – Анна. Широкая, жаркая, с добротной грудью, Анна любит ярко одеться, вспомнить, как в молодости была она первой девкой на деревне, и посетовать на свою разнесчастную жизнь.

– То ли живой, то ли нет?

– Живой, – угрюмо отозвался Григорий Андреевич. – Чего тебя черт носит? Опять картошки нет?

– Мое дело и носит. Ласково же ты меня, братец, величаешь. Я тебе невесту нашла. – Она толкнула ногой забежавшего в дом щенка. – Брысь, погань! Когда ты тока, Григорий, за жизнь возьмешься? Развел силу нечистую. Срам какой! Окна занавесил. Как каторжник живешь... – Она шумно села, тяжело дыша, утерла платочком пот со лба. – Хватай! Отрекнись не то от такого брата. Вот, Гриша, бабу нашла тебе, золото и все. И знать ничего не хочу, и слушать не желаю.

– Нет, ты слышишь меня? Золото она нашла, самородок!

– Молчи. Смотри на себя-то. Лешак ведь сидишь лешаком.

Анна и вправду мало видела счастья в жизни. Была она трудолюбива, но скупа. Всю жизнь гнездила свой дом, всякий гвоздь на дороге, всякую палку туда тащила, но мира и любви никогда в своем доме не знала. Да и Григорий Андреевич словом шпынял ее и в хвост, и в гриву. Но ко всем она липла, всех любила, во все дела лезла, только плакала по ночам, горестно недоумевая, – и чего она людям не по сердцу? Сестра сватала Григорию всех одиноких баб, которых знала. Сватала Марию, но та молода больно оказалась. Она, мол, от него бегать станет, ему ни к чему, он мужик ревнивый. Сватала косую Евгению, на что было сказано, что он сам без дефектов, и баба должна царапки не иметь. Сватала Ульяну, но та оказалась старовата. Хоронить жену второй раз ни к чему, расходов много. Всех и не перечесть, кому за пять лет Анна устраивала семейную жизнь с Григорием. Но все отметались прочь, а у нее сердце болело, когда видела его, чудаковатого. Мужуку-то стыдно одному, как кол, торчать.

– Значит, так, росточку она невысокого. Как раз по тебе, значит. Годов ни много ни мало как тебе. Хозяйственная. Дом – полная чаша. Муж помер. Вот...

– Она что, в гроб мужа вогнала? И хочешь, чтоб меня? Нет, ты слышишь меня?

Надежда с портрета улыбалась печально и строго, но молчала.

– Хоть посмотри на нее. Чего допрежь грязь лить на человека?

– Посмотрю, – соглашался он. – Ладно, посмотрю. – Он вздыхал и ждал, когда Анна уйдет, но Анна усаживалась намертво, видно, ей хотелось пожаловаться на свою старшую дочь, ту, что ушла недавно от мужа.

– Ты знаешь...

– Знаю! – рявкнул он.

– Чего это ты, господь с тобой? Как зверь какой! Женю! Видит Бог, женю!..

– Ну, хватит! Шла бы ты...

– Ой-ей-е-ей! – закатывалась Анна. – Страм... страм-то какой! – Она залилась слезами, подняла, всплескивая, пухлые короткие руки, напоминающие уточек. – Сестру родную... Сестру!

– Нет, ты слышишь меня! Сестра родная пришла. Принимай, стало быть. А может, меня интересует подумать. Я, может, люблю один быть. Потом придешь. Ступай! – уже ласковее говорил он.

От ласкового его тона Анна вскакивала, как ошпаренная, и вылетала из избы. Во дворе она шумела так долго и яростно, что сосед Иван подходил посмотреть в дырочку, не случилось ли чего. Сорвав злость криком, она шла открывать ставни. В избу врывался свет, обнажая тощего, растерянного Григория Андреевича в чистых кальсонах, руки его висели вдоль тела, он хлопал глазами и, обиженно выпятив губу, молчал. Анна заглядывала в окно, грозила ему кулаком, отряхивала юбку и торжественно плыла вдоль улицы.

– Ну вот... Ну вот, – суетился Григорий Андреевич, отыскивая брюки, – наговорились... Ишь. – Он словно стыдился чего-то.

– Ты прощай, Надя! Больше уж не приходи нынче. Я завтра на работу выйду. Ступай с богом!

– Бывай, Гриша... – слабо отзывалась она, словно бы тающим голосом.

Григорий Андреевич оглядывался, ежился, грустно повторял:

– Прощай, Надя. Теперь уж на тот год. – Вышел во двор, вздыхая широко, легко, сладко.

Заметил в дырочке ограды любопытный глаз соседа Ивана.

– Не выглядывай, – посоветовал Григорий Андреевич и удовлетворенно сплюнул, обводя взглядом свое хозяйство. Потом свистнул. – Ангел, за мной.

Кот смиренно шел к нему, лениво тянулся, его желтые глаза выжидающе закатывались, из избы с лаем вылетел щенок. Григорий Андреевич запирал на здоровенный замок дом и прятал ключ в завалинке. Выйдя на улицу, твердой походкой направлялся к магазину. За ним, важно урча, шагал кот Ангел и суетливо катился щенок.

– Это как же тебя назвать? – говорил Григорий Андреевич щенку. – Тебя кликать пора. – Он сопел, останавливался, думал.

Щенок, словно учуяв, что разговор о нем, взволнованно взвизгивал и заигрывал хвостом.

– Это как же... Порода в тебе никудышная. Опять же дума живая есть. Где-то я что-то слышал. Постой, постой. – Он подавался вперед. – Где-то я читал...

Сентябрь подходил к концу. Хрустел румяный лист под ногами. От медленно остывавшей земли шел едва уловимый, отдающий теплом и травами, тонкий сладковато-дремотный аромат...

1972

Возвращение

Бывает, в середине зимы после недельных нудных морозов народится вольный день; с самого утра будто что-то прорвется в высоком свежем небе, мягкий свет просочится в воздух, и зацветет он, заиграет. Отдавая сладковато-сочной мякотью арбуза, степенно выплывает полное алое солнце, чуть покачиваясь, и ослабеет земля, как выплachtetся. Как бы раздвинутся все четыре стороны света, станет просто, ясно, пронзительно. Кажется, вот отдохнет все, отдышится, влажные ветры войдут в город – и начнется весна.

По эту пору из далеких заморских краев везут в город апельсины, длинные очереди выстраиваются у зеленых ларьков, и возле сибирского снега играют эти холеные плоды чистым оранжевым огнем.

Проводница поездов дальнего следования Тоня Алексеева настезь открыла тамбурную дверь вагона, оперлась плечом, подперев бока руками. Все. Приехала.

Поезд вздрогнул последний раз и встал, растянувшись вдоль перрона. На соседнем пути, пригревшись под неожиданным нынешним солнцем, ходили важные, как бояре, расфуфыренные голуби, о чем-то толкуя между собой на своем глухом, ворчливом языке.

Парила река, высоко поднимая над собой густой белый туман. Вдоль поезда уже шел обходчик, деловито проверяя колодки.

Когда Тоня уезжала, еще подрагивал листвою черный октябрь. Буфетчица дорожного ресторана, без платка, накинув плащ, выносила на перрон свежие булки, даже на вокзале чувствовалась особая городская суета. Люди собирались встречать теплые бесснежные ноябрьские праздники.

И вот уже будто март на дворе.

«Теплынь-то какая, – грустно думала Тоня, – а я и зиму не видела. Всегда так. Середину не помнишь. Только начало и конец...»

Три месяца на колесах показались изнурительными; в этот раз сопровождали они эшелоны от сквозного Урала до мокрой Прибалтики, а оттуда закатились в Казахстан, где уже веяло настоящей весной.

Особенно тяжелой оказалась обратная дорога. Углем почти не снабжали: известно, дальний эшелон вне расписания – как пришел, так и ушел. Никто его не караулит. А как по Алтаю завывли каленые ветра, зашипели над вагонами – никакого тепла не хватило, чтобы согреться. Девчонки спали под матрасами, изо рта, как с реки, парило.

– Слышь че, приехали! – крикнула из соседнего тамбура проводница Майка. – Ой, приехали! Я уже сомневалась. Говорю хохлу: потеряли город. Не сыскать. Вот и красавчик. Грязища-то. Мотри, Тонька, небо аж черное – значит, дома, – кричала она весело, отрывисто, взмахивая темной от сажи рукой.

– Дома, Майка! – звонко ответила ей Тоня. – До чего же греет! Может, не Сибирь вовсе? Майка довольно хмыкнула, пригладила волосы.

– Пойду свово крота будить. О, мужчик мне достался. Помрет на верхней полке. Ей-богу, не почешется. – Она повернула голову и кликнула: – Хохол, а хохол. Я тебя живым увижу когда?..

– Ну че ты орешь? – Из-под плеча Майки вылезла острая голова мужа. Он обвел жиденькими глазами вокзал и зевнул. – Я с самого Черемхова не сплю...

Громадные окна вокзала с тусклым вниманием остановились напротив поезда, сквозь незамерзшее стекло на Тоню смотрел мужчина в очках, улыбался.

«Ишь ты, крокодильчик, – грустно подумала Тоня. – Ну-ну... – Она закрыла тамбур и вошла в вагон. – Ох и тоска же в вагоне. Это когда еще примут его... Может, ночевать придется?»

Прошедшую ночь она не спала. Собрались в служебном – у маленькой Верочки, вспоминая прошедшую дорогу, как давно уже прожитую.

Хлопнула дверь, с того конца вагона, мелко шаркая валенками, шла подслеповатая старуха Нюська.

– Девочки! – с хриплым задором кричала она, заглядывая в купе. – Девочки-девчоночки! Бутылочки...

Мало кто знал в депо, как живет старуха. Маленькая, шустрая, она встречала с самого утра все местные составы, собирая у проводниц бутылки, иногда оказывая им мелкие услуги: полы помоеет, в вагоне посидит. Обижали ее редко, она так прижилась в депо, что ей никто не удивлялся.

Из всех проводниц, которых она знала в лицо, Тоню старуха любила, как родную. В прошлом году Тоню снимали на месяц мыть вагоны – она проспала Новосибирск, а с нею и трое пассажиров. Старуха, перепуганная слухами, бегала за начальником поездных бригад и, задыхаясь, шептала ему:

– Милок, ты не вздумай выгнать девку. Слышь, че я тебе скажу. Молодая она еще. Пожа-лей ты ее, родненький. А я уж тебе поклонюсь.

Сейчас она заплакала от неожиданности. Уже месяц Нюська не пропускала ни одного прибывающего состава, пытая: не видал ли кто мою девку...

– Далеко ль была? – спросила старуха.

– Ой, далеко, бабушка, – ответила Тоня.

– Они загоняют, – растерянно подтвердила старуха.

– Давно у вас теплынь? – спросила проводница.

– Первый денек, – стараясь не дышать на Тоню, ответила старуха. Она стояла перед ней, готовая услужить в любой момент. – У тебя почему мороз такой?

– Угля нет, – сморщилась Тоня.

– Рыбонька моя, – хрипло простонала старуха. – Они тебя в гроб загонят. Я ж всю эту родову наизусть знаю. Я счас.

Старуха мигом скрылась в тамбуре:

– Эй, куда?

– Тоня, ты не бойсь. Я тебя живо согрею. – Старуха загремела в тамбуре ведрами. – Я тя спасу, доча. У меня на семнадцатом уголек есть... – Тоня выскочила за старухой, но из дверей тамбура увидела лишь, как мелькнул и скрылся между вагонами ее пестрый суконный платок.

Горластая ворона летела в высоком, не по-зимнему щедром небе, каркая во всю свою голодную глотку. Увидев птицу, черномазый цыганенок, лепившийся к цветным юбкам матери, присел и, сунув в рот два грязных пальца, пронзительно засвистал, вызвав неодобрительный картавый рокот цыганок.

Тоня взглянула на вокзал и опять узнала его. Это был ее вокзал. И говорливые цыгане, мерно расхаживающие по перрону, так могли расхаживать только по перрону ее вокзала. Там, за трамвайной остановкой, синел киоск, в котором она всегда покупала сигареты перед поездкой, и теперь можно было сойти и купить сигареты в своем киоске...

Как она тосковала этой дорогой по дому, по киоску, по улицам, на которых бывала редко, по тополию возле своих окон.

«Ах, какая Россия большая, – думала она, глядя одинокими ночами в окно. – Это пока сама не проедешь, не поймешь. Нет, ни за что не поймешь. Разве уместится махина такая в голове... Едешь-едешь, едешь-едешь – и конца-края не видать. При такой большой земле свой дом обязательно должен быть. Должно быть у человека место, откуда он мог уезжать и было бы куда приезжать. Иначе ведь сгорит человеческое сердце... Тот, кто не знает этой сладостной боли возвращения, никогда не увидит и не поймет краев, в которых побывал, сколько бы ни

мотало его по белу свету, сколько бы ни куражился он по земле. Птица и та себе место знает, ночевать в свое гнездо летит...»

Тоня закинула голову, черная сетка проводов под громадой тихого неба казалась маленькой. «Как это можно годами без дома жить? Вот тоска-то...»

Вдоль перрона, сунув руки в карманы пальто, шла Нинка Федорова и, чуть сощурился глаза, пристально вглядывалась в окна вагона.

– Эй, девушка, – лукаво крикнула ей Тоня. – Знакомых ищешь? – Нинка остановилась, узнала подругу и, подняв руки, закачала головой.

– Слава тебе господи. – Она подошла к вагону, вскочила на подножку и, притянув голову подруги, поцеловала ее. – А я смотрю, бабка наша летит на меня, в упор ничего не видит. Думаю, с чего светится?

В вагоне Нинка присела к окну, подобрала в узел рыжие курчавые волосы, вздохнула.

– Скучала я по тебе, – сказала она, расстегивая шинель. – Мы с бабкой на пару кукуем. Ведь она тебя так любит.

– А я ее каргой не зову. Про жизнь ее все слушаю.

– Интересно, какая же у нее была жизнь?

– Такая же, как у всех баб, – вздохнула Тоня. – Обыкновенная.

Подруги немного помолчали. Тоня смотрела в окно на потемневший вокзал, на дежурного милиционера, озабоченно шагавшего по перрону, голос диктора раздельно вещал о прибытии электрички.

– Сон я какой видела, – печально вздохнула Тоня, – будто приезжаю я домой, а у меня полный дом крыс. Даже страшно. Здоровые крысы. Ты знаешь, Нинка, как собаки...

– Крысы, говорят, к счастью, – успокоила ее подруга, потом махнула рукой. – Брось ты всю эту дребедень. Вот доживем до бабкиных лет, сядем с тобой на лавочку и будем перебирать, что нам когда снилось.

Тяжело ухнула дверь нерабочего тамбура, по вагонам шла Майка, привычно ругаясь с мужем. Петр семенил за ней, осторожно огрызаясь. Майка грустно встала у служебки, звякнула ключами.

– Девки, – протянула она, – хватит шептаться. Пора дело делать. – Суховатая голова мужа торчала из-за ее могучего плеча.

– Не примут у нас вагоны сегодня. Как пить дать.

– Шарашкина контора, – готовно подтвердил Петр. – Чего ждать!

– Надо Верочку из четвертого вагона позвать, – напомнила Тоня.

– По закону, – степенно согласился Петр.

Котел, добросовестно раскопчегаренный старухой, уже нагревался, начинал шуметь, с его стороны поволокло теплом, вагон покачнулся и тронулся. Состав убирался с первого пути. Поплыл за окном вокзал, оставляя при себе дремлющую в ожидании публику. С конца перрона уже начинался деповский резерв, зеленый от вагонов. Пришла Верочка из четвертого вагона, молоденькая, тихая, по-монгольски широколицая, все понимая, вынула из кармана три рубля, подала Тоне. Майка, уткнув в бока руки, широкая, тяжелая, как трактор, медленно наступала на мужа.

– Ну что ты у меня за вражина такая? – Она ткнула ему в плечо черным от копоти кулаком. – Девки по тройке, а ему по два. На бедность, что ли, скинули?

– Ну, не ори при народе, – зло зашипел Петр и виновато оглянулся.

– Да что, тебя девки не знают? Тебя вся Восточная Сибирь знает и весь Крым в придачу. Доставай деньги, говорю! – властно приказала она.

Петр вынул из внутреннего кармана пиджака бумажник. Майка, глядя мужу в глаза, вытянула из бумажника десятку и отдала ее Нинке.

– Вот вам, девки, от нас, – сказала она, не сводя глаз с мужа.

– Да что я, в конце концов, – визгливо обиделся Петр, – она добрая, а я крохобор. Что я, для себя берегу? Славка – твой сын или не твой?

– Ты это брось, – внушительно покачала пальцем Майка возле носа Петра. – Славка не прорва, чтоб только жрать да пить. Верите – нет, девки, – с сердцем повернулась она к проводницам, – он меня в могилу сведет своей жадностью. По осени едем мы в одной бригаде с Петуховым в Москву. Я спать ложусь. Как порядочная, понимаешь ли. Перед Тюменью. Все у меня как надо. Вагон пустой почти. Встала, спрашиваю Петра: все в порядке? Все в порядке, говорит. Не заикнулся, черт блаженный. Ну в порядке, дак иди спи. А с Петуховым, знаете, он ревизию носом чует. Он ко мне приходит и говорит: давай проверим по местам. Мало ли что... Пошли. Я ни сном ни духом... В последнем купе стоят, голубчики, девять «зайцев». Один к одному. Как близнецы. Ты где их подобрал таких?

– Вспомнила...

– Закрой рот!

– Да что я тебе...

– Рот закрой, я тебе говорю, – спокойно глядя на него, приказала Майка. Петр поперхнулся, но дальше спорить не стал.

– Вот верите, нет, девки. Нарочно начнешь собирать, для кино, к примеру, – не подберешь таких. Где ты их набрал таких?..

Петр молчал.

– Бери деньги, ступай в магазин, – устало сказала ему Майка и села на лавку. – Далекое не ходи. На горке всегда есть...

Когда Петр ушел, маленькая Верочка вдруг спросила Майку:

– Как ты с ним спать ложишься?

– Кой там спать, – лениво ответила Майка.

Она сидела на лавке, могучая, прямая, плотно приставив друг к другу две широкие глыбы ног.

– Так – принеси-подай, – грустно добавила она. – Я за него как вышла? Рожать надо было, и пошла. Он ничего мужик, в общем-то, если бы не скупость. Жили бы мы душа в душу. Он не бьет меня. Другие бабы в синяках ходят. А я того не допускаю.

– Тебя побьешь, – засмеялась Нинка.

– Хе. А то я не баба. Я, может, за то страдаю, что у меня власти много. Я ему говорю: купи мне телевизор за четыреста рублей. Я его сама не смотрю, телевизор. Как включу – спать тянет. А он говорит: тебе не все равно, перед каким телевизором спать – за двести или за четыреста? Это он мне так сумел! Нет, говорю, ошибаешься, драгоценный мой муж. Мне не все равно. Пошел, купил за четыреста. Стоит теперь ящик. Никто его не смотрит. Славка у бабки живет.

– А ты его брось, – хохотнула Нинка.

– Кого? – не поняла Майка.

– Мужа.

Майка покачала головой.

– Собаку не бросают, – грустно ответила она. – А ты – человека брось. А уйду, с ним жить никто не будет. Он без меня на другой день сдохнет. Так-то, если по уму разобраться, он же для нас со Славкой копит. А меня злит это. Думаю, зачем мне деньги твои – я из вагона не вылажу. Ты мне покажи, что я баба. Ой, да чего там. – Она огорченно махнула рукой и замолчала.

За двойными стеклами окна, над зелеными составами играл, разгулявшись, высокий весенний день. Все перепуталось в природе, сдвинулось со своего места, а потому неминуемо что-то должно было случиться. Катастрофа уже надвигалась, чувствовалась в отчаянно светившемся воздухе, но солнце все равно грело без меры весело, горячо, сладко.

«Это какой же сегодня день, – думала Тоня, прислонившись к стене. – Ох, какой денек!..»

Хотелось потянуться блаженно, одиноко, чтобы кровь разошлась, встать, выйти из вагона и идти, идти и идти.

Как устало и застоялось тело! Хочется воли и воздуха.

Последние дни поездки, измотанная холодным вагоном, она думала о том, как проживет положенный ей отдых, куда пойдет, что купит. Она думала о том, что по вечерам будет непременно печь блины на кислом молоке с маслом.

Ночи в поездах тягучие, мысли тяжелые. Под привычный стук колес Тоня все чаще думала о том, как прожила она свой короткий бабий век. Давно ли девчонкой бегала, а вот уже и середина ей пришлась короткого веку, отпущенного для силы, любви, работы. Повидала она много. За десять лет работы на поездах хочешь не хочешь, а землю увидишь. Сколько людей провезла, а знает не больше десятка. Вокзалы помнит, города знает, а лица не вспомнит, пожалуй, ни одного. Много всего было, а что осталось? Измельчало все, поблекло, как песок по земле, рассыпалась вся ее жизнь.

Качаясь на полке, глядя бессонными глазами в потолок, она думала о том, что осталось ей, пожалуй, совсем немного, потому что убывает та жадность до людей, дорог, разговоров, которая кипела в ее ранней молодости, все меньше она волнуется, все разбухает, тяжелеет в ней одиночество. А сейчас, слушая Майку, закрыв глаза, она думала: сколько еще жить, господи! Ай, сколько! Эту прорву времени жить – не пережить. Еще сегодня день не кончился. Еще целый отдых впереди. Гуляй, где желаешь. Ведь приехали, наконец!

Пришел Петр, выставил бутылку вина на стол, возле каждой проводницы аккуратненько положил по плавленому сырку, по шоколадке.

– Все? – спросила Майка.

– Все, – ответил он и чинно сел.

Разлили. Даже тихая Верочка выпила свою меру, не поперхнувшись, только перед тем как пить, долго держала стакан в руке, о чем-то грустно думая. Петр деловито, до крошечки съел свой сыр, радостно потер руки и сообщил:

– Ну, бабы, приехали.

Черные жирные проталины пятнили снег на путях.

– Приехали, – словно уловив Тонино настроение, сказала Нинка и потерлась носом о Тонино плечо. – Я тебя провожала – еще снег не ложился. Время быстро бежит.

– Скоро весна, – сказала Верочка. Она, опьянев, смотрела на всех черными добрыми глазами и грустно улыбалась. – Я весной как землю увижу, у меня руки чешутся. Трогать хочется, погладить ее. Деревья послушать. Подумайте, как это в городе люди по земле не скучают? Ведь в городе нет земли – один асфальт. И огня нет. А я без огня скучаю. Едешь, едешь, да выйдешь в топку заглянуть, на огонь посмотреть...

Петр захохотал.

– Что ты ржешь, сивый мерин? – грозно спросила его Майка. – Молодая еще девчонка. Жизни не видела.

– А что я такого сказала-то? – удивленно спросила Верочка. – Ну что я плохого сказала? А?

– Смешная ты. – Майка ласково потрепала ее по голове. – Дитя еще.

Неожиданно в тамбуре поднялся шум, загрохотало кем-то оброненное ведро. Петр вздрогнул, убрал со стола бутылку. Майка готовно поднялась к выходу, но Нинка остановила ее знаком руки. Дверь широко распахнулась, вошла старуха Нюська, увидела на столе стаканы, расплылась в улыбке.

– Где шаль, которую ты у Машки Тихоновой взяла? – спросила Нинка.

Старуха села чуть поодаль проводниц, словно не слыша вопроса, кивнула, медленно расстегивая жакетку.

– Бабка. – Нинка взяла в руки стакан, рассматривая его на свету. – Я тебя спрашиваю?

– Нету, – коротко сказала старуха, с легкой скорбью глядя на проводницу. – Нету, Нинок, потеряла я шаль, – призналась она и опустила голову, словно засыпая. Тут же очнувшись, она дрогнула головой и повернулась к Тоне. – Тоня, ты человек, Тоня. Скажи ей, зачем она надо мной изгаляется? Мне семьдесят лет. Муж на фронте погиб, и сын тоже. Она понимает такое? – Старуха подняла вверх корявый желтый палец, голова ее мелко затряслась. – Тоня, нету у меня шали. Машка молодая, она еще десяток таких шалей сносит...

Нинка решительно поднялась.

– Не надо, Нина, – тихо сказала Тоня.

– Ты, может, и шаль для Машки купишь? – с трудом сдерживаясь, спросила Нинка.

– Куплю, – все так же тихо ответила Тоня. – Только успокойся.

– Дура, – вспылила Нинка. – Дура. Во. – Она зло постучала себя по лбу. – Жалостливая нашлась.

– Ну, с кого ты спрашиваешь? Ты посмотри на нее. Ну, что ты с нее возьмешь?

– Хватит, девки, хватит, – останавливала Майка. – Чего сцепились?

– Нинка, чего ты за Машку горло дерешь? Она калымит упаси бог как. Нашла за кого заступаться!

– Ты же испугаешь ее так, – задумчиво сказал Петр.

– Ну и что, – зло буркнула Нинка и отвернулась к окну.

– Ой-е-е, – закивала головой старуха. – Никак мне Бог смерти не дает. Если бы смерть купить можно было, Нина, кисонька, да я бы все депо обобрала, а купила себе смертушку.

– Будет. Тебе слова не давали, – оборвала ее Майка.

Старуха замолчала, откинулась на стену, розовый свет разошелся по ее лицу.

– Успеешь еще туда, бабка. Бесплатно, – вздохнул Петр.

Майка тяжело посмотрела на него. Петр дрогнул, но продолжал:

– Чужой жизни никто не знает. У всех своя. Правильно я говорю, рыжая? – Он обратился к Нинке.

– За бельем приедут, нет ли? – стараясь сменить разговор, сказала Тоня.

– А у Осиповой в августе мешок пропал с простынями. Выплатила до копейки.

– Да ну!..

– Вот тебе и «да ну». Грозилась уволиться.

– Куда она пойдет? – глядя в потолок, сказала Нинка. – Вся жизнь на колесах. Ей до пенсии семь лет осталось.

Мимо простучал поезд, по главному пути шел товарняк. Потом все стихло, проводницы замолчали, каждая думая о своем...

Вскоре приехала машина за бельем, пришли приемщики, началась обычная по приезду суета.

Через два часа Тоня прощалась с Нинкой, принимавшей свой вагон на Москву.

– Опять не поговорили, – с досадой вздохнула Нинка.

– Ничего. Приедешь – наговоримся.

Нинка долго смотрела на нее и потом заметила:

– Старые мы с тобой стали, Тонька.

– А может, еще ничего, – слабо успокоила ее Тоня.

– Нет, уже все, – печально подтвердила Нинка, поправила воротник подруги. – Ну, иди. Вон бабка глядит. Она тебя всегда провожает.

Тоня вздохнула и пошла. Старуха, выглядывавшая из-за вагона, вышла и долго смотрела ей вслед, что-то бормоча про себя.

Тоня не села в автобус, а пошла по разомлевшему от тепла городу. До окраины, где она жила, ходьбы почти час. Тоня легко прошагала город, не торопясь, разглядывая, читая объяв-

ления на углах домов. Еще девчонкой, когда она только начинала ездить, когда уезжать было легко и приезжать не страшно, она разделила возвращение на несколько частей: вокзал, вагон, дорога до дому, сестра, дом. Вот эта дорога от автобусной остановки на вокзале до дому была самой приятной частью возвращения. «Мороженщица перешла торговать на другой угол, – замечала Тоня, – дом строят новый, светофор у школы поставили. Живет город». Там, в Казахстане, где они стояли двое суток, весна приходит сразу, сильная, горячая, там, говорят, в апреле тюльпаны цветут и ничего не боятся. А здесь – нет. Весны на родине пришибленные, обстоятельные, как дети после войны. Посветит солнце денек и скроется, опять выжидает чего-то. Пройдя последний каменный дом, Тоня опустила к речушке, мирно протянувшейся за низкой старушечьей окраиной.

Здесь, на широкой, почти деревенской улице, автобусы не ходили, машины ездили редко, снег казался белее и воздух чище. Опрятная речушка текла сразу за огородами, не засоряясь, потому что была с быстрым течением. Ленивый деревенский дым тянулся из печных труб, тоскливо выли по дворам собаки. Мальчишки чистили для хоккея лед, он вырывался из-под лопат неожиданными зелеными снопами искр. Размахивая руками, к Тоне подбежал племянник Сережа. Кожаная серая шапка почти скрывала его лицо, он постоянно подталкивал ее край вверх и сопел.

– Замерз, поди? – спросила его Тоня.

– Не, – ответил он. – Ты чего привезла мне?

– Тебе ничего, дружок. Людке привезла.

– Ага, – недовольно протянул мальчик. – Все Людке и Людке...

– Ну как же, она маленькая.

Сережа утер нос рукавичкой.

– Я домой не пойду, – сказал он, – а то меня мамка не отпустит. Я потом приду, ладно?

– Ладно. Шею прикрой только. Мамка-то дома?

– Дома! – уже на бегу крикнул Сережа. – Она с ночи пришла.

Дом сестры, высокий, крытый шифером, стоит на горе. Чистенькие, подсиненные занавески на больших окнах. Во дворе порядок – ни одного полешка без места не лежит, снег отгребен далеко за заборы. Сестра Александра, высокая, худая, жарила рыбу у печи, вяло взглянула на Тоню.

– Приехала, – сказала она, переворачивая рыбину ножом. Сестра была бы очень миловидной, если бы не выражение постоянной обиды, сквозившее в ее черных глазах и старившее лицо. Ходила она всегда прямо, словно кол проглотила, поджимая узкие губы.

Из комнат вышла племянница Надя, рослая – в мать. Ласковая, как молодая телочка, повисла на Тониных плечах.

– Что привезла? – спросила она, расстегивая шинель тетки.

– Привезла, – ответила Тоня.

Надя нетерпеливо подпрыгнула и взяла из Тониных рук сумку.

Держась за стенку, на кривых ножках вышла маленькая Людочка, увидела Тоню и улыбнулась.

– Ты моя сладкая, – присела перед ней Тоня. – Иди сюда. Что тебе тетка купила... – Она открыла сумку, вынула большую куклу, поставила ее на пол.

Кукла, чуть поменьше Людочки стояла, блестя глянцевыми щеками. Тоня взяла ее за руку, кукла шагнула. Людочка испуганно шлепнулась на пол и заплакала.

– Ой, какая! – восторженно выдохнула Надя. – Ой, какая...

– Балуешь ты их. – Александра взяла Людочку на руки. – Она, поди, денег стоит.

– Ничего, – ответила Тоня. – Пусть играет.

– А мне-е? – протянула Надя.

– У, бесстыжая. – Мать покачала головой и хлопнула дочь полотенцем по плечу. – Все клянчишь.

– Ну что ты, Шурка. Она уже невеста у тебя, а ты все хлещешь.

Надя, в это время проверившая сумку, держала в руках черные сапоги с длинными голенищами.

– Это мне? – растерянно спросила она.

– Тебе, – кивнула головой Тоня.

– Ой, – простонала Надя и исчезла в комнатах. Она появилась через несколько минут. Поскрипывая сапожками, ладно прошлась по кухне. – Ой, тетечка Тонечка, ой, – радостно всхлипывала она. – Мам, я в сапогах пойду?

– Ну куда там! – Мать посадила Людочку на диван и вернулась к печи. – В валенках дотопаешь.

– Ну, мам, – захныкала Надя. – Мам...

– Не гунди, – прикрикнула Александра.

– Да, у нас все девчонки в сапогах ходят. Одна я в валенках.

Александра молчала, нарезаая хлеб к столу, сурово поджав губы.

– Галька Рубцова такие сапоги с ноября носит, – продолжала чуть не плача Надя, исподлобья поглядывая на мать.

– У Гальки отец начальник, – словно себе сказала Александра. – Он до уборной пешком не ходит... Ну, снимай сапоги и собирайся в школу, – вскипела она неожиданно.

Надя, понимая, что просить больше нельзя, пошла в комнаты.

– Лучше бы брату помогла. Если Юрка двоек хватает, я вам обеим с теткой задам.

Тоня разделась, прошла в теплые, застланные половиками комнаты, за ней шагнула Александра, нервно одергивая фартук.

– В школу! – цыкнула она дочери, увидев, что та поглаживает сапоги.

Девчонка грустно посмотрела на мать, вздохнула, молча оделась и ушла.

– Ты как неродная им, Шура. Орешь и орешь.

– Молода еще учить, – отрезала Александра. – Вот заведешь своих и воспитывай их по системам.

Она подняла клеенку на столе, взяла почтовый перевод.

– Прислал. Вот, мол, дорогие детки, не помрите с голоду. Забочусь. – Она провела фартуком по глазам, с ненавистью бросила бумажку на стол.

Тоня молчала, печально глядя на сестру. До замужества Александра была хохотушкой, с характером легким, отчаянным. Волосы у нее все еще хороши: черные, густые, сейчас редко встретишь такие косы.

– Пойдем, умоешься.

На кухне, раздевшись по пояс, Тоня долго плескалась над цинковой ванной, сестра, поливая ее сверху теплой водой, шлепнула легонько по спине:

– Ишь гладкая какая.

– Стараемся, – весело ответила Тоня, утираясь полотенцем.

– Прокатаешь, Тонька, свою бабью жизнь. Помянешь тогда мое слово. – Александра накрыла на стол, села, сняв платок, аккуратно подобрала волосы.

– Не надоело еще мотаться?

– Нет, – ответила Тоня. – Что ты мотаешься, что я... Одинаково.

– Ну мне положено, – зло хохотнула Александра. – Я теперь мать-одиночка.

– Брось, – мрачно сказала Тоня. – Надоело.

– Вот, поди, попробуй брось. У меня уж вся душа выболела. Пустота горит внутри. Ну куда я их нарожала?

Сестры сели за стол.

Тоня молча прихлебывала чай, слушая монотонный, страдающий голос Александры.

– Видела я эту стерву. Руки белые. Чего ж? Это я износилась, а она за всю жизнь мужику рубаху не постирала. Умная.

Она звякнула ложечкой, перевела дух.

– Ты помнишь, как я пела в школе? Александр Иванович говорил: «Молодец, Сашка, артисткой будешь...»

Тоня смотрела на сестру и думала, что Александра всего на пять лет старше ее. Она сдала в последние годы. Тоня теперь не помнит, чтобы сестра пошутила, просто так засмеялась. А когда-то она действительно хорошо пела. Протяжно, вольно, по-русски, сердцем понимала песню.

– Я тяпну немного, – сказала Александра и достала из шкафчика графин.

– Ты смотри, повадишься, – недовольно заметила Тоня. – Куда их потом девать? Убери лучше.

– Ничего, – ответила Александра, но пить не стала. – Воспитаешь. Ты у нас добрая. Одна на всех такая... Рожай, Шура. Чем больше, тем лучше. И тот, кобель, – рожай. Все боялся – уйду от него. Ну вот, нарожала Шура. Господи, – перешла на шепот она. – Да где же это закон такой, чтобы с четырьмя бросать? Вишь, любовь встретил. А я? Я-то как? – Она в упор посмотрела на Тоню пылающими глазами. Заметалась, схватила платок, дрожа, стала складывать его. – Нету такого закона. При Советской власти живем. Я в обком пойду. Я писать буду. Я найду себе правду.

– Что ты, – тихо сказала Тоня. – Какая власть заставит мужика спать с тобой? Остынь...

Александра резко повернулась к ней, потемнела, опустила вся. Заплакала Людочка, сидевшая на диване, Александра взглянула на ребенка.

– К такой же, как ты, ушел, – мстительно сказала она. – Мааетесь какого-то черта. Все любви ищите. Тебя Гусев сватает, чего не идешь? Тоже ведь разобьешь семью. Чужого мужика уведешь.

– А то они меченые.

– Меченые...

Александра взяла Людочку и унесла в комнату спать.

– Твой-то объявился, – выходя из комнаты, сообщила она Тоне. – Идет со своей кралей. За руки держатся. Ну куды там – любовь! Здравствуйте, говорит, Александра Семеновна. Думаю, захватить бы тебе по шарам твоим наглым. И все «здравствуйте».

– Злая ты, Александра...

– Ну, ты добрая, – ухмыльнулась сестра. – Я злая, а четверых принесла. А ты как кол торчишь, добрая-то. Со всех сторон одна. – Она смахнула крошки с края стола. – Что ты на нее смотришь? Выдери ей космы. Что она, жена ему?

– Старая ты совсем стала, – печально ответила Тоня. – А я ему жена разве?

– Ты с ним больше года жила. Он что думал, когда тебе жизнь корезил?

– Вон она – какая птица. Мне до нее не достать.

– У него этих птиц стая пролетела. Сбесились бабы. Ей-богу, сбесились. Я бы с ним в голодный год за хлеб не пошла. Одна важность в нем, что галстук каждый день носит.

– Не знаешь ты этого, Шурка. Не понимаешь ты любви. Когда вот увидишь, посмотришь – и то сладко. Только бы знать, что жив. А больше ничего не надо.

Александра обиженно поджала губы, помолчала, потом, отвернувшись, словно себе, сказала:

– Вот сделал бы он тебе четверых. Тогда бы я посмотрела, как ты на него любоваться будешь. И знать, что он жив...

В дверь заскребли. Александра вздрогнула, подошла и резко распахнула ее. У порога стоял Вася Шеметов, синий от страха, он держал в руках ушанку и бубнил:

- Тетя Шура, тетя Шура, Сережа... – замолчал.
- Что Се-ре-жа? – по слогам спросила Александра.
- В прорубь провалился.

Александра остолбенела. С минуту она стояла, как вкопанная, тихо бледнея. Потом вдруг взвыла сиреной и метнулась к двери. Она понеслась посреди улицы, ничего не видя.

Из соседнего двора выскочила соседка Бельчиха.

- Кто помер? – испуганно крикнула она.

Тоня, успевшая прихватить полушубок, бежала за сестрой, не отвечая.

- Мальчишка Шуркин, говорят, утонул, – ответили Бельчихе.

Тетка охнула и заторопилась вслед, за ней тоже бежали люди, что-то крича на ходу.

Александра пролетела через сугроб к реке; узел ее волос развязался, и они засыпали ей плечи.

На льду у проруби стоял мокрый, ничего не понимающий, перепуганный насмерть Сережа и клал зубы. Его только что вытащили. Увидев сына, Александра оборвала вой, остановилась на секунду, словно удостовериться, он ли, потом цепко схватила его и молча, задыхаясь, потащила домой. Люди повернули за ней.

– Слышь! – кричала Бельчиха. – Водки, водки надо – растирать. А потом малиной поить. Аннушка, ради Христа, забеги ко мне, – обратилась она к молодой бабе. – У меня в подвале банка малины припасена. Тащи все ей.

В доме их уже ждали. Кто-то готовно держал в руках бутылку водки. Александра в один миг раздела сына, уложила в постель и стала молча, сосредоточенно растирать его. Сережа не мог сказать ни слова и только мелко дрожал, пока его не напоили горячим чаем с малиной.

Через час люди расходились, обсудив со всех сторон случай, давая советы, что делать, если Сережа заболит.

Мальчик спал, разметавшись на постели, отмытый и порозовевший. Александра так и сидела у кровати сына, безвольно опустив на колени руки, с одуревшим лицом, не говоря ни слова.

– Иди, – подошла к ней Тоня, стараясь поднять ее со стула. – Иди освежись, тебе легче будет. Пройдет. Жив, и слава богу.

Александра поднялась, подошла к печи, открыла дверцу, чтобы подбросить угля, но вдруг резко обернулась на Сережу, простонала и заплакала.

Теперь она уже плакала легко, навзрыд, и Тоня не мешала ей, а сидела рядом и ждала, пока сестра успокоится сама, пока выплечет напряжение и горечь.

– Ты помнишь? – сквозь плач говорила Александра. – Ты помнишь, в прошлом году Сашка Григорьев утонул. На... на... том же месте, – захлебывалась она. – Ой, думала, все. Дума... Думала. Страшно сказать... – Она зарыдала, не закрываясь, поднимая плечи. – Не могу больше. Не могу... Если бы он... Если б он... Я б за ним кинулась сразу. Ни минуты не медля.

– Ложись, милая, ложись. Все хорошо. Все прошло. Больше не пускай его на реку. Водички дать тебе?

- Не, – поднимаясь, сказала Александра.

Тоня довела ее до постели. Сестра легла, все еще плача, потом затихла, уставившись припухшими глазами в потолок.

- Трудно тебе, – сочувственно вздохнула Тоня.

– Нет, не трудно, – тихо ответила Александра и отвернула обмякшее, заплаканное лицо к стене. – Страшно.

- А ты не бойся. Может, еще усовестится, придет.

- Зачем он мне нужен? – Александра всхлипнула, равнодушно прошептала: – Предатель.

Небо уже потемнело, когда Тоня вышла от сестры и медленно поплелась по улице. Похолодало. Шел мелкий снег, горели огни в домах, сонно дымились трубы. Было холодно и одиноко. Валенки почему-то отяжелели, видно, промокли, и сейчас больше всего не хотелось идти в свой дом. Она жила недалеко от Александры, на той же улице, в доме матери, которая умерла давно, а отца они с Александрой совсем не помнили. Ушел на фронт, когда девочки были совсем маленькие, и не вернулся. Так и жили одни.

Черный замок обледенел, и его пришлось отбивать ломом. Не заходя в дом, Тоня набрала дров в сарае, занесла, бросила у печи. Села на стул.

«Господи, – подумала, – хоть бы кошка встретила». Она включила свет. Нежилые серые стены мрачно выступили под лампой, в доме был все тот же беспорядок, который она второпях оставила перед поездкой. Пахло сыростью. «И чего меня домой тянуло, – устало подумала она. – Кому я тут нужна...»

Она вспомнила, как тосковала в поездке по дому, по городу, по сестре. Подумала о том, что она всю жизнь тоскует не по своему. У сестры полон дом забот. У Александры горе – так горе. Радость – так радость. «А у меня что, у меня и кошки нету...»

«Приехал, значит», – вспомнила Тоня, растапливая печь. Давно не топленная, она дымилась, но потом огонь выровнялся, затрещали дрова. Тоня вспоминала, как в первый раз увидела его с той, городской, белолицей женщиной. Они прошли мимо, не заметив ее, дружно держась за руки, и она помнит только, как высокая платформа сапога женщины раскрошила на мокром асфальте мелкий осенний лист. Больше он не вернулся к Тоне. И когда пришел незнакомый парень за его вещами, она аккуратно собрала их и отдала, не сказав ни слова.

От печи уже слабо потянуло теплом. Тоня хотела снять шинель, но двигаться было лень.

«Тридцать лет через месяц мне».

Могла ли Тоня подумать, что вот так, легко и неутешительно, пройдет ее молодость. Что же не хватило ей для той жизни, какой хотелось? Когда она проехала свою дорогу, чего не заметила?

Вдруг за стеной рванулся и взвыл ветер, мелко задребезжали стекла. Тоня подложила в разгоревшуюся печь поленья и закрыла ее. Засвистело за окном, завьюжило.

«Люди боятся одиночества, – продолжала говорить себе Тоня. – Стыдятся его. И то правда. Если ты, как кол, торчишь, значит, к тебе люди не тянутся. Значит, никому ты не нужна...»

На улице зашумели. Слышно было, как кто-то охлопывает валенки в сенях, потом дверь осторожно приоткрылась, послышался чей-то голос.

– Антонина!

– Ну чего? – устало отозвалась Тоня.

Тогда дверь открылась совсем, вошла соседка.

– Гляжу – огонь в окне. Думаю, она – не она. Может, вор залез.

– У меня воровать нечего, – сказала Тоня.

– А ты че одевши сидишь? Ишь буряка! А? Страсти господни. Я говорила, такой день задарма стоять не будет. Вон он наворачивает, – сказала соседка, прислушиваясь к ветру.

– Чего тебе?

– Да че. У Мельничихи столб искрит. Гляжу, не загорелся бы. Нюрка-то в больнице. Одни девчонки дома, еще сгорят.

Тоня молчала, думая о своем.

– Чего молчишь? Пойдем, я боюсь одна.

– Иди, иди, – махнула рукой Тоня. – Устала я. Спать хочу.

– Ну, как знаешь, – недовольно сказала соседка. – Я пойду. А то сгорят девки. Мало ли что.

«Сколько мне еще впереди осталось? Говорят, у баб с мужиком век короткий. А если по одному – то длинный. За двоих тянется. Этак он у меня не кончится».

– Слышь че? – спросила Тоня соседку. – Все ли здоровы у тебя?

Никто не ответил, она обернулась, увидела, что соседки нет. Потирая лоб, начала вспоминать разговор с ней.

«Что-то про детей, – вспомнила Тоня, морщась. – Господи, да провода же у кого-то оборвались. Дети», – мелькнуло у нее в голове.

И, уже ни о чем не думая, она широко распахнула дверь, выскочила в мокрый воющий мрак и отчаянно закричала:

– Лида, Лида, где провода горят?..

Ей никто не ответил. Черное, страшное, словно громадный паук, шевелилось над головой небо, на земле будто все стронулось со своего места, а потому куражилось, бесновалось.

Тоня пошла закрывать калитку, но ту сорвало с петель, она лишь жалобно скрипела, не попадая на засов. Тоня с трудом справилась с ней, ободрав о железо мокрые руки, заплакала от боли, устало пошла в дом.

«Провались все пропадом, – думала она, всхлипывая. – Завтра же в Москву поеду. Да, утром к Мельничихе зайти надо, как там девчонки».

Хорошая, изголодавшаяся по огню печь уже протопилась, мягко отдавала жаром. В доме посветлело, исчез постылый, так неприятно поразивший ее вначале нежилой дух, старая кукла глядела на нее потертыми глазами, улыбалась всем своим пряничным лицом.

«Ну вот, – лениво раздеваясь, подумала Тоня. Усталость и сон валили ее с ног. Она подошла к постели, села, чувствуя сладкую тяжесть во всем теле. – Наконец-то приехала...»

1974

Марька

...Что-то застрекотало, зашуршало в траве, юркнуло серой мышью, потом тоненько всхлипнуло, и из-под самых ног взмыла птица, острая, серо-голубая, и закружила, закричала-закричала над головой...

Марька испуганно присела, уткнув нос в колени, сжалась вся, услышала бойкий стук в груди, даже солнечно-зелеными пятнышками запрыгало перед глазами.

– Хлопчихо-ова, Хлопчиха-а, – позвали ее. – Марька-а!.. Машка...

Марька осторожно подняла голову от колен, увидела бабушку, та вывалилась из кустов краснотала и медленно подходила к ней.

– Что ты сидишь, как лягушка? Неслух ты окаянный. Г-у-х! Ведь и не двинется, не трепыхнется у нее нигде... – Бабка ткнула в Марькину шею жилистым кулачком и, жестко потрепав ее за волосы, поставила на ноги. – Да как ты будешь дальше-то жить, я ниче не знаю. Че тебя сюда тянет, ты мне скажи, каким тут медом намазано. Шурмур – и нету... подворашницы. С утра... И хлеба корки не съест. Вона-вона, че тут, хрящики одне... Вон Ирка соседская выйдет, как битюг хороший, сбитная, красная, прям на сливках замешена. А этот крючок, синяя вся, пальцем убьешь... ей-богу! Че тебя сюда тянет, ты мне скажи? Наткнесси на проходимца какого, ведь измордует, страшно сказать как, и в землю закопает... О господи прости, ведь с греха и скажешь так дитенку. Жрать-то хочешь?

– Хочу.

– Но-о, – расплывается бабка, – промялся пупок-то?..

– Промялся...

Марька поняла, что бабушка выговорилась и больше не страшна. Девчонка ступила на высокую, хлюпающую кочку и обернулась.

Болото ложилось далеко, протяжно, пока глаз видит, кое-где кустился краснотал, тополята, и три березки, высаженные прошлым летом бабкой, молочно, как ребятишки, белели рядком, словно вызванивая копеечно-мелкой тонкой и нежной листвой. И как это бывает в предвечерние летние часы, солнце особенно ясно высветило сырую траву, отчего упругой играющей зеленью запылало и слилось вокруг, до самого края, откуда начиналось высокое прозрачное небо. И где эта птица, кричавшая над ее головой? Не видать, только трава и небо...

Марька вздохнула, прислушалась к звуку, непрерывно стонавшему в бабушкином дыхании, и спросила:

– Баба, кто на нашем болоте живет?

Они уже выходили из зарослей краснотала на дорогу, и начинался огород пожарника Зуева.

– Кто на нашем болоте жить будет? Кулик да леший, – задумавшись, отвечала бабка. – Чего видала-то?

– Птицу.

– Кулика и видала...

Они попали в огород своего дома, бабушка – через калитку, а Марька прошмыгнула в дыру забора. Бабка, на минуту остановившись у грядки с огурцами, пошарила толстой красной ладонью в шершавой ботве и сунула два пузатых огурца в карман фартука. Вошли в дом, полутемный, прохладный, с выморочной, если бы не равномерный стук будильника, тишиной. У некрашеной перегородки лежала мать, лица ее не было видно почти, только бледная, узкая рука над головой да дымок от папиросы...

– Иди ко мне, – глухо сказала она Марьке.

Марька прижалась к бабушке и молчала.

– Ну иди, доченька...

Бабушка легонько подтолкнула девочку и прошла за перегородку.

Мать неохотно поднялась, зажгла свет, встала у зеркала, висевшего на стене, провела рукой по лицу, по плечам, легонько тронув шелковистый узел волос, распустила его, внимательно рассматривая на свет пряди, словно искала чего.

– Все себя выглядываешь, – из-за перегородки хрипанула бабушка. – Сивая, сивая скоро станешь. Лучше бы за дочкой смотрела...

Мать вздохнула, закрутила назад узел, туго так, что стянуло щеки, низко на лоб повязалась платком.

– Ну и куда теперича? На какую выставку? – не выходя из-за перегородки, спросила бабушка.

– Пойду перекопаю грядку, где морковка.

– С чего это?

– Да что там вырастет? Три хвостика торчат.

– Чего бы ни торчало! До осени подыметесь все одно. Поди, редиски охота. А морковку я сама, надо будет, перелопачу...

Вечером Марька лежала в жестковатой своей постели, до подбородка укрытая лоскутным одеялом, молча разглядывала вздувшуюся штукатурку потолка. Погас неторопливый свет за окном, вспыхнула вверху лучистым белым сколком звезда, бабушка грузно опустилась на табурет, который привычно проскрипел и затих.

Мать ходит по комнате и курит. Ходит медленно, и лицо ее, всегда озабоченное, темное, горит ровной и постоянной горестью. Мать ждет.

Последние дни она гладко зачесывает волосы, надевает серое платье и почти ничего не говорит, лишь подолгу стоит у окна, напряженно всматриваясь в темноту. Костистая, с худощавым нездоровым лицом мать похожа на некрасивую северную птицу. Время от времени угол их дома высвечивают машины, идущие по дороге, и тогда мать вздрагивает и вытягивается вся.

Серый свет застоялся в доме. Сквозь щели окна сочится сырость с болота, тяжело звякает цепью собака во дворе. Кусочек черного, по-августовски щедрого неба четко отпечатался за неровными стеклами окна.

– Не жди, – говорит бабушка, – не придет он. Больно ты ему нужна! Он нагулялся, и опять порядочный. А ты вот о чем думаешь...

– Тебе мою жизнь не прожить...

– Мне твоя жизнь ни к чему, – ровно отозвалась бабушка. – Про меня никто худого слова не скажет. А я ведь тоже не за мужика пряталась.

Марька давно привыкла к причитаниям бабки, таким же обычным, как разговоры о погоде, о том, что не уродились нынче огурцы и на базаре опять подорожало мясо.

– Вчерась Надька пришла, говорит, чего ж, мол, телевизор не купите? А я ей говорю: зачем мне телевизор?.. У меня дочка – кино немое... Ей-бо... Что я мыкалась одинешенька, всю жизнь в окна выглядывала. Что эта... сивая почти, а все в окна, как в зеркало. И была ли моя жисть- то?.. И куда девалась? Бабий век паутинный: блеснул два раза – и нету...

Мать повернула к ней неподвижное, словно ослепшее, лицо, вздохнула, взяла следующую папироску.

– Вот я тебе скажу, все это – бабья блажь. Если сужен тебе мужик, ты с им, и помрет, не расквитаешься... Я вон со своим пятнадцать лет жила, а как помер, царствие ему небесное, – начинает бабушка, облизывая губы, – дай бог памяти... Год, год...

– Пятьдесят второй, – бросает мать.

– Гляди-кось, не всю память прокурила...

Мать выпускает дым изо рта, равнодушно разглядывая потолок.

– Я вроде тебя тогда осталась. Ляжешь спать, как в могиле. Хоть он и отец тебе, как на духу скажу: несладкий был. Ой, несладкий. Ты все копейки его подобрала. Не ровен час, помру, Марьку хоть со мной ложи. От тебя проку нету...

Стукнуло во дворе. Загрохотало, покотившись в сенцах. Дверь открылась, и вошел Петр.

* * *

... Два года прошло с той поры, как он пришел впервые со стороны фабрики. Ранняя дымка в этот день расходилась над болотом, молодое ноябрьское солнце, пунцовое, с полными боками, медленно поплыло по белому небу, едва-едва пригревая землю, которая лежала, ровно ковванная, еще без снега, и казалось, стукни каблуком – искры посыплются.

Его зовала бабка – колоть полугодовалого борова. Она шумела в этот день во дворе, будто готовила свадьбу, бодрая, с неожиданными яркими глазами, с горячим от праздника лицом, счастливая, что нашла случай позвать соседей, толкалась в стайке, чуть всплакнула, похлопывая борова по щетине, кричала на мать, необычайно тихую в этот день, по-бабьи повязанную белым платком, и, устав, отдувалась у печи.

Потом устроили горячее застолье. Петр упорно и удивленно смотрел на мать, что-то думал, шепнул бабке:

– Дочку сватать буду. Отдашь?

– Сиди уж! – Бабушка ткнула его красным кулаком в плечо. – Свою кралю куда денешь?

– Выгоню!

– А ребяташек тоже выгонишь?

Петр ничего не ответил, лишь глянул на мать и шумно выпил водки. Потом встал, подошел к матери и сел рядом. Та вздрогнула, взглянула на него не то испуганно, не то удивленно.

Марьке было одиноко и грустно. Сытая, она надела пальто и вышла во двор, на огород. Села на свое бревно, приглядываясь к мерному дыму, плывущему с дальних огородов, где жгли картофельную ботву, к инею на серых кочерыжках капустной грядки, к черной некрасивой земле, и грустно вздохнула. Потом выходила мать, за нею – Петр. Стояли у забора; мать молчала, вороша тупым носком туфель подмерзший лист, а он говорил и говорил что-то...

Приходил он после того к ним часто. Бабка сердито ругалась во дворе за поленницей, чтобы не слышно было. Она недолюбливала Петра, а мать молчала, но делала по-своему. Утром, чуть свет, мать провожала его, и Марька, просыпаясь, видела в окне усталое, изменившееся, светлое странной и молодой чистотой ее лицо...

* * *

– Петя, – сказала мать, – ну где ты был?.. Ну почему ты так долго...

Бабка в сердцах, жестко плюнула, и Петр, раздеваясь, покосился на нее. Мать, словно отгораживая его руками, быстро увела в свой закуток за печкой.

Бабка, чтобы Марька скорее уснула, пригревшись, прилегла рядом и бормотала что-то про себя...

Марька закрыла глаза, сизая, мягко обволакивающая дрема поплыла, поплыла впереди.

И серо-голубая птица прорезала дрему, кружа бесшумно и крича бесшумно, и снова увидела Марька болото, зеленое, мягкое, дымчатое, и облака над болотом...

– Господи, господи! – бормочет бабка, вздыхая. – Родился – таинство, помер – таинство, а прожил – все ясно. Суета, грех – про все знаешь. Нет дива никакого. Как чужую жизнь прожила. Чужую, нескладную, никудышную. О-ее-е... Где я че недосмотрела... Ой-е-е. Неуж на такую жисть родиться надо было?..

Марька дремлет чутко, прижавшись носом в перинную бабкину грудь, от бабки пахнет лепешками, травой, чем-то еще сырым, родным, горьковатым...

Марька знает чистую правду про молодую бабушкину жизнь. Бабушка как говорит: жиней много можно прожить. Поедешь, к примеру, в Москву – одну жизнь проживешь. Захочешь, по дороге завернешь в деревеньку, – вот тебе другая жизнь явится. А еще куда – третья. Она убеждена, что дорога из родного дома привела ее к самой никчемной жизни. Ее настоящая жизнь осталась где-то там, в родной деревне, до той поры, как она вышла замуж за своего Павла, который помер, привезя ее в этот городишко. И начала она мыкаться изо дня в день, все надеясь на лучшее. Ан глядь, обернулась, – и по прошлому пройти – не запнешься. Ни горя, ни счастья настоящего не встретишь. И впереди уж ничего не видать...

Лежа на своей широкой кровати в прохладной темноте дома, сквозь густую дрему бабка вспоминает иногда другой дом: на краю деревни, горячие от солнца черепки на завалинке, закат в полнеба, бабы стоят у калиток, переговариваясь и ожидая стадо, которое еще за деревней жестко звякает боталами, тяжело ступая, а на проселочной дороге уже подрагивает теплая пыль. Стадо проходит сквозь улицу, наполнив воздух сочным ревом, запахом крепкого пота, кисловатой, прелой земли. Всякая корова постоит чуток возле своего двора, прежде чем взять губами кусок хлеба у хозяйки с руки и пройти в широкие ворота двора.

Вспоминала она и сенокосы, и праздничные игрища. Ворочалась с боку на бок, прикидывая, что не та, поди, теперь деревня. Опоздала, поди...

За печкой шепчутся мать с Петром. Оттуда слышны хрипловатые материны укоры...

– Извелась я, Петя, измоталась. Все ждешь, ждешь тебя. Ты блеснул – и опять нету...

– Я же не один тоже, – глухо отвечал ей Петр, – сама должна понять. Двое их, куды бросишь? Свои же, не чужие...

– Да я ничего. Мне и так вот – пришел, и сладко. Почаще бы хоть ходил-то... Хоть не мотало бы ожидание... Ой, нет, не могу я так, Петя, не могу! Давай уж решать. Или... или...

* * *

Утром Марька проснулась от стука в окно. Бабушка заскрипела сеткой кровати и испуганно спросила:

– Ктой-то?

Желтый августовский луч тянулся по полу.

– Это я, Костя.

– Какой Костя?

– Кулиев, из деревни.

– Во как, – сказала бабушка и пошла открывать дверь.

Костя, смуглый мальчик, худой и серьезный, вошел в дом, поставил чемодан на пол, снял кепку и пригладил серые вихры.

– Меня мамка послала, погостить.

– Во как, – повторила бабка, поднимая его чемодан, в котором сестра присылала деревенские гостинцы.

– Ну проходи, чего у порога стоять? Ты поездом приехал?

– Поездом, – ответил Костя и наконец посмотрел на Марьку.

Костя приезжал каждое лето, его присылала из деревни мать, сестра Марькиного отца, умершего от воспаления легких, когда Марька была совсем малая. Бабка говорит, они собрали голубицу в жаркий день, долго шли, сморенные солнцепеком, и отец с ходу напился из студеного родника. В три дня его скрутило, вот и помер...

Костя приезжал, как мужик, подладить хозяйство, помочь, и Марька и бабка любили, когда он приезжал.

Сейчас, открыв глаза, Марька спокойно выслушивала тяжелые бабкины охи, кряхтенье и бормотанье, похожее на квохтанье. Наблюдала, как сочится сквозь стекло и рассеивается по дому ленивый свет летнего утра. Потом она встала вслед за бабушкой, вышла во двор, потягиваясь, широко зевая, шурила глаза на болото, одной рукой ухватившись за широкую бабушкину юбку, другой – приставив ладонь ко лбу точно так, как в этот миг сделала бабушка. Затем они скликали цыплят, кормили их размоченным хлебом, а когда соседский ярко рыжий петух с неожиданным криком взлетал на еще розовый забор, Марька хваталась за сердце и сердито цедила сквозь зубы:

– Сдох бы ты, проклятый...

Сразу за огородом лежало озеро, полное спокойной черной воды, подернутое тиной у берегов, а дальше, сколько хватало глаз, до самой фабрики зеленела болотистая трава.

К другому берегу озера важно вели выводки белоперые красавицы утки.

Что-то сквозное и легкое появилось по утрам в последнее время в природе, и, хотя желтый жар над головой столь же натруженно набирал силу, от травы на болоте веяло горьким, она запылилась от корней, и утки, которых многие держали, становились беспокойнее, шумливее, не возвращались назад во дворы. Вечером поселковые бабы ходили по берегу кто с палкой, кто с хлебом, зазывая своих птиц.

Управившись с цыплятами, бабушка села на прохладное бревно возле завалинки и долго смотрела на дорогу через болото, примечая, кто сегодня пошел на фабрику, а кто – нет.

Прорези ее глаз почти скрывались за багровыми горками щек, она отдувалась, шумно дышала, ревниво осматривая бледный клочок своего огорода.

Работать на земле она любила. Ее грядки от соседских отличались чистотой. Ни единой сорной травинки. Лук посажен в рядок – один к одному, укроп тянется строго по краям, возле каждого помидорного куста вбито по крашеному желтой охрою гладенькому колышку, между грядок выются веселенькие песочные дорожки.

Костя озабоченно осмотрел хозяйство, потом взялся за топор.

– Бросай оружие, мужик тоже мне! – ворчит бабка. – Иди в дом.

Дома бабка поставила на стол картошку, жаренную на сале, залила крошеную редиску, огурцы, лук квасом, Косте подала единственную в доме шербатую деревянную ложку.

– Трескайте!..

Костя ел деловито, хлеб резал крупными кусками, косил на Марьку.

– У тебя глаза, как у коровы, – убежденно говорил он.

– Откель ей другие глаза иметь? – отвечала бабка. – Чистая жигла. Крючок. Доедай да улепетьвай. Давайте, давайте! Помогать приехал, помогай, забирай ее и с глаз моих. Мне нонче редиску сеять...

* * *

После обеда Костя неожиданно пропал. Марька пометалась по ограде, заглянула в палисадник, в стайку, и когда вышла в огород, увидела на дороге через болото поселковых мальчишек. Впереди шел Костя и что-то говорил Вовке Гурову.

Ни минуты не медля, Марька нашла дырку в заборе, выскочила на дорогу и побежала. Ботинки, надетые на босую ногу, больно натирали пятки, и Марька прихрамывала на левую ногу.

Большая лужа разлилась посреди дороги. Теплая и липкая вода обмыла ноги; блеснув разводами, скрылись в луже жуки; Марька поскользнулась, больно упала и заплакала, сидя в луже. Услышав шум, недовольно закричали на озере утки.

Марька медленно поднялась, размазывая о верх платья черную грязь с рук, и, оглянувшись, увидела стреноженную лошадь. Лошадь задумчиво смотрела на нее нежно-розовыми глазами, помахивала хвостом и фыркала.

Марька махнула рукой, осторожно вышла из лужи и подалась по пыльной дороге, оставляя мокрые следы.

Мальчиков она потеряла из виду и, прихрамывая, шла наугад. Шла долго, пока дорога не уперлась в выжженный солнцем забор толевой фабрики.

Черная копоть плавала в воздухе, скудный боярышник прилепился к забору, печально обвисая серой листвою. Неподалеку от ворот она увидела Костю, он лежал на земле и пристально разглядывал в щель под забором двор толевой фабрики. Марька подошла к нему, спокойно улеглась рядом.

– Хлопчиха, я так и знал, – зло прошептал Вовка Гуров. Костя больно шлепнул ее по затылку.

– С утра не везет, – процедил он сквозь зубы.

– Может, завтра? – осторожно подсказал чистенький, светлоголовый мальчик, по прозвищу Бяшик.

– Завтра не бывает, – хмуро глядя в небо, ответил ему Вовка Гуров и злобно дернул Марьку за ухо.

Вовка не любил Марьку, и Марька его боялась. Она прижалась к Косте, и тот, погладив ее по волосам, сказал:

– Я домой. Она еще залезет в болото, ищи потом.

Веселая стайка диких уток низко пронеслась над ними. Гуров, наблюдая за утками, заметил:

– Учатся. Скоро полетят...

– Да, – повторил за ним Костя. – Если не перестреляют.

– Ну, что будем делать?

Все трое, обступив Марьку, смотрели на нее. Марька, набычившись, сопела носом и знала, что не сдвинется с места, если даже Костя поведет ее домой.

– Да пусть лезет...

– Она маленькая...

– Пискнешь, глаз выбью! – сказал ей Гуров и погрозил кулаком.

Толевая фабрика мало чем отличалась от других фабрик поселка. Деревянный забор ограживал ее. Посредине двора перекопился старый склад: сюда со всего поселка свозили бумагу. Вот этот склад и притягивал к себе Вовку с друзьями.

Вовка любил медицинские книги. Ради того, чтобы иметь у себя справочник врача, он месяцами копил деньги от школьных завтраков; рылся в библиотеках, периодически делал набег на этот склад. В пыльных его закромах Вовка рылся, как крот.

– Давай, – бросил Костя.

Первым – Вовка Гуров, за ним Костя подтолкнул Марьку, и она поползла, царапая себе колени о выжженную землю. Попав в склад, Марька зажмурилась от темноты. Было сыро и холодно. Открыв глаза, она различила много бумаги, книг, тетрадей, беспорядочно рассыпанных, спрессованных в горы.

Вовка Гуров, деловито оглянувшись, нырнул в одну из бумажных куч. Костя толкнул Марьку за плечо: выбирай что надо. Марька рылась медленно, тщательно разглядывая бумажный хлам, нашла старые игральные карты, спрятала их за пазуху.

Гуров всегда безошибочно угадывал, в каком углу рыться. Под ворохом фольги нащупал острые углы книг и, деловито сопя, морщась от легкого треска, осторожно начал разгребать книги. Бяшику повезло сразу: он нашел марки. Девочка подползла к соседней куче, заметив переплет книги.

Бархатистая спинка паука стремительно мелькнула на гладком листе, когда Марька открыла книгу. Она спокойно перелистывала страницы, внимательно вглядываясь в крупные ряды четких черных букв, в длинные лица людей, останавливалась взглядом на тяжелых резных столах, на яркой пышности ковров и одежд и еще на многих вещах, окружавших этих людей, которых она не знала никогда.

– Костя, – спросила она, – что ли так живут?..

– Не мешай, – бегло глянув, сказал Костя.

Марька вздохнула, открывая наугад книгу, и увидела женщину. Та полулежала, чуть склонив к плечу бледное лицо. Ее ленивая рука свела два длинных пальца, державших дымчатый шарф, другая скрылась в черных волосах, заострив розовый локоть. Спокойное и печальное было в ее глазах, странных, мерцающих отраженным от окон глубоким светом, и глядела она на Марьку со спокойным интересом так внимательно, что казалось: сейчас поднимется в воздушном кружеве розовая ее рука и тронет Марькино плечо. Но еще что-то завораживало и тянуло к ней, такое, будто она давно знает эту женщину, помнит ее, словно во сне, помнит движение ее руки, когда та оторвется от волос.

– Хлопчиха, – позвал ее Костя, и Марька, вздрогнув, прижала к себе книгу.

– Смотри-ка. – Костя показал ей старую наклеенную фотографию на картоне; в двух голубых сердечках сладко улыбались друг другу мужчина с зализанными на косою пробор волосами и женщина в желтом берете.

– «Люби меня, как я тебя», – прочел он надпись снизу.

– Костя, а это, кто это? – спросила Марька, показывая ему книгу.

– Отстань! Баба, как все.

– Как я? И я такая же? – с ужасом переспросила Марька. Она не могла поверить, что та, волшебная и тайная, которая нарисована на картинке, и она – одинаковые. – И мама?

– Ну да!

– И бабушка?

– Да, да. Отстань от меня! – Костя уже сердился.

Марька отошла в сторону, села на бумаги. Она так и не поверила Косте, но сердце стучало молоточками, и все казалось призрачным.

Чистый свет сыпался сквозь щели склада. Во дворе визжала вагонетка, два женских голоса мирно проплывали за нею. Потом все стихло. Раскрытая книга тяжело выскользнула из рук, уткнувшись в бурый ворох бумаги, Марька потянулась за ней, но книга юркнула между тюками вниз и хлопнула там, подняв тучу пыли.

Махнув Косте рукой, Марька осторожно полезла за книгой, скатилась на сырой тюк, села, нащупывая в темноте тяжелый шероховатый корешок. В это время ворота склада широко распахнулись, мужчина крикнул:

– Вот они!

Первым опомнился Бяшик. Он взвизгнул, подпрыгнул на одном месте и пулей выскочил со склада. Поднялся шум. За воротами тяжело зашаркали чьи-то сапоги, потом Марька услышала плаксивый Костин голос:

– Дяденька, пусти, дяденька, я больше не буду...

Кто-то, видимо, держал его вниз головой, потому что голос доносился снизу, от земли.

– Попался, попался, – отвечал ему мужчина. – Вот отведу домой, чтоб выдрали. Еще подожгут тут, бумага же!..

Потом много других голосов перекликались друг друга ожесточенно и громко, и наконец ворота склада закрылись.

Марьку никто не заметил. Она припала к бумаге и, боясь шевельнуться, затихла. Она услышала свое дыхание и крепко сжала губы, чтобы не дышать. Но прошло время, и ничего не

случилось. Чуть успокоенная и ослабевшая от пережитого страха, она вытянула вперед руку и задремала.

Когда проснулась, на складе было так же тихо и сыро, погасла ясная паутина света, тянувшаяся через все щели склада. Наверное, солнце уже перешло на другую сторону и висит над крышей самой фабрики. Марька не думала о том, что ее бросили, а спокойно лежала и ждала, когда все это кончится, придет Костя, и они отправятся домой.

Марька зевнула, потянулась и хотела привстать, но тут что-то гроыхнуло на улице, и ворота склада заскрипели, въехала вагонетка. Две женщины, тянувшие ее, остановились.

– Последняя вагонетка сегодня, – сказала та, что постарше. – Поясница гудом гудит.

Марька пошуршала, поднялась и посмотрела на женщин. Они сидели у ворот, где бумаги почти не было, и прямо на земле блестели рельсы для вагонетки. Вылезая из ложбинки, Марька задела какой-то тяжелый мешок, он пополз вниз, увлекая за собой бумагу. Марька оцепенела.

– Опять крысы, – равнодушно сказала старшая и поглядела вверх. – Не ровен час, сожрут...

– Крысы-то?

– А то нет? Голод – не тетка. – Она деловито поправила платок корявыми руками. – Значит, едешь?

– Еду.

– Дело хозяйское!

– Поеду я, – тихо подтвердила молодая. Платок в крупную клетку совсем закрывал ее голову, она глядела перед собой неподвижными серыми глазами.

– Может, и я человек. – Она сгорбилась, обхватила ноги руками и прижала к коленям подбородок. – Я уж и так думала и этак. Думала, пройдет... Он и раньше бегал, однако возвращался. Ребятишки же... А он ребятишек любит. С полочки полны карманы яблок тащит. А со мной молчит, как с чужой. Ей-богу, вот будто я к его детям только приставлена. Бывало, поначалу-то, как они схлестнулись, стою, жду его, жду. Райка у болота живет. Бабка с нею, девчоночка... Встану на краю и жду, вот, думаю, другие бабы не ждут, поди... Увижу, по тропке идет, домой... Вроде как ничего не замечаю. Потом на работу к ней сходила, выглядела. «О господи, – думаю, – неужто я хуже?» Платье себе сшила, завивку сделала. Хоть бы заметил. А теперь решила: пусть... Теперь – пусть. Мне уже ничего от него и не надо. Выболело все... Уеду, и пушай живут. Своих детей не жалеет, пусть чужую кормит...

Марька скатилась в ложбинку, легла молча, разглядывая черную крышу с затканными паутиной углами. Разговор не удивил ее, и сам их приход не разрушил того состояния дремотного и терпеливого ожидания, когда наконец ее окликнут и уведут домой.

Книга грелась на груди, и Марька поглаживала ее рукой, закрывала глаза, и тогда в темноте, откуда-то сверху, казалось, словно звезды, смотрели на нее ясные и мудрые глаза незнакомки с книжной картинки.

– Видела я ее, Райку-то, – немного помолчав, сказала старшая. – Слаба ты перед ней. Та, змеища, присосется – так намертво.

– Пускай, – тихо ответила молодая. – Она с ним меду не увидит. Не человек он – волчина. Слова доброго у него нету. На столб наткнется, обойдет. На меня – нет, напролом...

– Рыба ты. – Старшая вздохнула. – Нет в тебе что-то такого... бабьего. Вот Райка – поглядеть на нее из-за швабры, – не увидишь. Тощая. А мужиков к ней тянет. Мало что одинокая. Я вот тоже одинокая, на меня никто не смотрит...

– Живет же такая, – зло процедила молодая. – Живут же... А я замуж больше не пойду. Я так жить буду.

– Восемь уже, – зевнула старшая. – Пойдем.

* * *

Стемнело. Похолодало. Страх пришел опять. Темнота превращала тюки в чудовища. Марька зажмурилась, у нее ослабели ноги. Она крепко сжала губы, чтобы не расплакаться.

... Теплая желтая комната всплыла тогда в ее памяти. Бабушка складывает в капроновый чулок крупный лук и вешает на крючок у печки. Мать ласкает Марьку, поднимая ее обеими руками вверх над головой и приговаривая:

– Доченька моя сладкая! Ты моя ясная! Доченька ты моя милая! Ягодка моя сладкая!..

Радостно блестят материнские глаза, Марька летит вверх – вниз, задыхается, цепляется за волосы матери. Счастливо смеется и опять летит.

Все события сегодняшнего дня: дорога, лошадь, склад, темнота, страх – разом подступили, она не выдержала и заплакала, сначала всхлипывая, потом громко-громко. И тогда она услышала, как в углу что-то зашуршало и сползло к ней.

«Крысы», – пронеслось в голове, и она забилась в диком пронзительном крике.

– Чего орешь, дура! – Кто-то хлопнул ее по спине, но она все кричала, и лишь когда жесткая ладонка прикрыла ей рот, опомнилась. Подняв голову, Марька узнала Вовку Гурова. Помолчала немного и потом заплакала свободно, легко, чувствуя счастливую слабость.

Гуров неловко погладил ее по голове и сказал:

– Не плачь, я тебе книжку подарю. Давай руку, сейчас вылезем.

Она намертво вцепилась в его худую спасительную руку. Гуров вздохнул, посадил ее на колени, тихо уговаривал. Марька уткнулась в его горячее плечо, слушала и успокаивалась.

– Не плачь, – повторил Вовка, – я тебе книжку подарю.

Вспомнив про книгу, Марька слезла с его колен и быстро отыскала в темноте свою книгу.

– Брось, – угрожающе процедил Вовка.

Марька насупилась и перестала всхлипывать.

Вовка шлепнул ее по лицу, вырвал книгу и зашвырнул в угол. Марька заголосила. Гуров взял ее за руку, но она упиралась и плакала.

– Ну, ведьма, – простонал Гуров, – вылезем, я тебе покажу! – Ползая вокруг, он отыскал впотьмах книгу.

Вылезли со склада, пригнувшись, прошмыгнули между постройками, пролезли в дыру в заборе и наконец вышли к болоту. Тихо и черно было на болоте, хотя серебряная дорожка луны искрилась по мягкой воде. Остро пахло сырой травой, водой, толем от рук и одежды.

Вовка отвел Марьку на озеро, чтобы отмыть этот навязчивый запах.

Вспоминая разговор двух женщин, Марька думала о тех слухах, которые ходили о матери по поселку, о молодой женщине, у которой так надрывно переломилась жизнь...

На берегу озера было светлее, чем на дороге. Вовка скинул рубашку, вошел в мягкую теплую воду, проплыл до камышей и вернулся назад. Закричали обеспокоенно утки и долго не умолкали. Марька, пока Вовка плескался в воде, сидела на берегу, открыв книгу. Женщины не было видно при слабом свете, только от желтых отблесков воды загорался и гас дымчатый свет ее шарфа.

– Смотри какая, – сказала она вылезшему из воды Вовке.

Вовка прошел мимо, не глянув даже, сопел, вытирая руки майкой.

– Раздевайся, – отрывисто сказал он. – Давай быстрее.

Вовка вымыл ее так же тщательно, как мылся сам, старательно обтер, приюхиваясь, не пахнет ли от девочки толем.

– Там такая тетенька красивая! – повторила Марька, показывая на книгу.

– Все вы одинаковые, – буркнул Вовка, напяливая на нее платье.

– И я такая же? – шепотом опять изумилась Марька.

– Ну а чем ты лучше?..

И пока Вовка копался, обуваясь и отряхиваясь, Марька прижимала к себе книгу и смотрела на небо. Оно изменилось, устоялось густой сплошной чернотой; ярко горели звезды; вода успокаивалась, сходилась пугающей подсвеченной глубиной, только от камышей, от суеты потревоженных уток шли к берегу мелкие бьющиеся круги. Слабая во тьме, дорога на болото быстро терялась из виду, словно нитка оттуда, из полного, свежего простора, из шорохов, теней, неожиданных криков, чего-то хлопотливого и незнакомого...

Все внове сегодня открылось для Марьки, словно отблеском, слепящим и резким, от большого пожара впереди. И эта женщина – как тайна другого мира, и это болото, живущее страшным, скрытым от чужого глаза...

И знает ли про все это бабка или мать, и кто знает про все, все это?..

– Смотри, – испуганно зашептала Марька, указывая рукой.

Вовка обернулся и облегченно вздохнул.

– Не бойся, – сказал он, – это лошадь...

Лошадь подошла к воде и, мягко фыркая, стала пить.

– А звезды, это что? – спросила Марька.

– Это солнца. Их много...

Марька засмеялась оттого, что даже она знает, что такого быть не может, а Вовка говорит.

– Вот и неправда, солнце – когда днем...

Она прижала книгу к себе и еще раз счастливо вспомнила, что она такая же, как и чудесная женщина в этой книжке. А самое главное, она покажет картинку матери и бабушке и скажет им, что и они такие же. Ведь ни мама, ни бабушка просто не знают, какие они... женщины!.. Оттого и горе... А потом будет счастье... Вот они узнают, и будет счастье.

Ребята проходили мимо стогов сена, когда кто-то свистнул им. Подошел Костя, двинулись к огородам.

– Слушай, а тетя Рая... – Вовка помолчал. – Что, к ней еще ходит этот... Ну, оттуда...

– Че, в морду дать?..

– Да нет, я так...

– Пискни только кому. Это не наше дело. Она хорошая, только несчастная. Моя мать говорит, что она несчастная...

Вовка отвернулся и промолчал. Марька шла между ними и думала, что будет дальше жить с утра до вечера, с утра до вечера, и так долго, и это, наверно, никогда не кончится.

У огородов Вовка отдал Косте книгу.

– Я пошел, – сказал он. – Ох и попадет мне.

Дома Марьку с Костей встретила бабушка, спросила:

– Где это вы шлялись?

Костя ужинать не стал, сразу ушел на чердак.

Марька уткнулась в бабушкины рыхлые колени, почувствовала горячий, родной запах, счастливо вздохнула:

– Бабушка, ты долго живешь?

– Шибко долго, Хлопчиха... Иди к матери ласться. Она тебе подарочек сготовила...

Мать, гладко причесанная, в сером платье, стояла у печки, печально смотрела на Марьку.

– Вот, – сказала она, – в школу скоро пойдешь...

Блеснул металлический замок портфеля. Запахло кожей.

Марька сунула под подушку и портфель, и книгу. Уже засыпая, сквозь сладкую тяжелую дрему она все еще думала, что больше не будет одна, что завтра она хорошо рассмотрит книгу, что все будут любить ее. А она любит всех...

Последнее, что она услышала в этот день, – ватные бабушкины шаги и всегдашнее горестное бормотание: «Э-э-эх, жизнь моя никудышная. Ой, никудышная...»

1975

Проводницы

Последние, на редкость свежие и ясные дни сентября. В воздухе сладковато и дымно, и в то же время есть что-то в нем сквозное, легкое, отчего дышать радостно.

На маленьком вокзальчике, ровно озаренном закатным северным светом, пустынно. Электрички, которая ходит сюда два раза в день, уже нет, а поезда местного назначения ждать больше нечего. Еще молодой желтизны листья сухо перекатываются через серый асфальт перрона; с тихих розовых гольцов терпеливо плывет ясное зарево, предвещающее заморозки.

Тугой гудок цыкнул резко и неожиданно. Локомотив с лязгом отцепил от товарного состава пассажирский вагон и медленно покотился по черным путям к тупику.

– Эй, красный зажги! – закричал кондуктор, махая фонарем.

Вагон покачнулся и встал, и в открытые двери тамбура показалась белесая девушка в синей болоньевой куртке, надетой на пестрое короткое платье. Девушка выжидающе оглядела вокзальчик. Через пути к вагону шла женщина; вот она остановилась у колонки, набрала воды.

– Тепло у вас, – сказала ей девушка.

– Тепло, у нас осень всегда хорошая. – Наполнив ведро, женщина неторопливо поправила ситцевый в горошек платок, морщинисто прищурилась и вздохнула. – А лето вот непутевое было. Дожди через день да каждый день. Картошка вся помокла. У вас-то как с картошкой? Дорогая?

– Не знаю я, – улыбнулась девушка.

– За матерью, значит, живешь, – догадалась женщина и ухватила за дужку ведро. – Ну, в добрый путь.

Девушка грустно посмотрела ей вслед. Сорвавшийся с тополя лист ударил ей в лицо, отлетел и затих, вздрагивая у рельса.

В глубине тамбура, у котлового отделения, проводница сердито уложила в топку дрова, потом быстро подожгла бумагу и задумчиво посмотрела на огонь.

– Чего там? Нету? – спросила она.

Ее скуластое тугое лицо высвечивается огнем, пламя тускло отражается в глазах. Она большая, крепкая в кости, всегда выглядит сурово, потому что на ее лице как бы застыло выражение ровной и притерпевшейся печали.

– Нету, – грустно подтвердила девушка.

Проводница закрыла топку и ушла в вагон. Девушка вздохнула, поправила волосы и медленно, выжидающе закрыла дверь.

В вагоне полутемно. Проводница зажгла свет в служебном и в маленьком коридорчике, глубина вагона потемнела еще больше.

– Углем будем топить или не замерзнем?

Девушка пожала плечами и, вздохнув, села на лавку.

– Умылась бы хоть, невеста.

– Я не невеста, тетя Маша.

– И не будешь. Нашла с кем связаться – с солдатом. Он сегодня есть – завтра нету. А ты грызи локти.

Девушка совсем молода. Она некрасива, тиха, лицо ее немного обветрено, ходит несмело, словно прислушиваясь к чему-то. Имя у нее простое и ласковое – Наташа.

– Вот натопится – голову помою.

Вплотную подступила темнота. В высоком небе уже промыто заблестели крупные сентябрьские звезды. Ветер усилился. Он гудит через трубу котла в отоплении. На перроне зажгли фонари, и за ними плотно встала темень, границы вокзала четко определились, отчего он стал еще ниже и меньше. В поселке залаяли собаки, потом стало тихо, будто все утонуло. Вагон

скрипит, словно переваливаясь, усиливается с теплом тот особенный, спертый вагонный дух, настоящий на запахе туалета, крепкого табачного дыма, едкой и постоянной пыли.

Наташа налила воду из котла в глубокий таз, занавесила окно одеялом, разделась по пояс. Ее худая угловатая тень переломилась на полу. Девушка, не смущаясь Марии, поднимает руки, оглядывает острую грудь с бледными крупинками сосков, вытягивается и, разводя ладонями теплую воду, с наслаждением шумно плещется. Грязные разводы от головы текут по плечам.

– Никак не научусь топить, – отфыркиваясь, оправдывается Наташа. – Как в котел полезу, так в саже до ушей.

– Угля меньше бросать надо. От него дым один. И колосники выбей, чтоб легче топку чистить. Мужика-то твоего как звать?

– Он не мужик, он парень.

– Все они на один манер. Ты никому не верь, а то замуж не выйдешь.

– Нет, этот не такой. Он ласковый. – Наташа, вытирая голову полотенцем, остановилась и радостно улыбнулась. – Такой ласковый, как ребенок. Знаете, какие он мне слова говорил! Я и не думала, что такие бывают. Он придет еще. Вот посмотрите.

Она вымылась, обтерлась, стала еще моложе, светлее. Лицо по-детски округлилось, ресницы и брови совсем белые, а в глазах появилась та застенчивая открытая доверчивость, какая бывает у совсем молодых, еще не знавших горечи девушек.

Мария тоже разделась до рубашки, неторопливо прошла вдоль вагона, словно чего-то искала. Шея у нее плавная, без морщин, тело крепкое, подобранное, еще налитое полной уверенной силой.

– Осень, – сказала она, – бабья пора. Самая что ни на есть моя.

– А давно вы ездите?

– Да лет двадцать.

– Вот повидали-то...

– Насмотрелась, – соглашается Мария. – Сейчас уже ничто не интересно. – Она погладила свое плечо. – Места разные, а везде одинаково.

– Он придет еще, – задумчиво говорит о своем Наталья. – Может, его начальство не пускает. Он ведь сам себе не хозяин.

– Много ты его видела-то?

– Три раза, – счастливо засияла девушка.

– Ну и дура, – добродушно покачала головой Мария. – Че ты там разглядела за три раза? Ой, девки, девки, пороть вас некому!

Наташа поджала губы и унесла таз. С улицы в окно ворвался яркий шар света от фонаря. Кто-то грубо заколотил в дверь. Наташа вздрогнула, стала спешно расчесывать волосы. Мария насмешливо оглядела ее маленькую фигурку, вышла в тамбур.

– Чего? – спросила она.

– Красный зажги, правил не знаешь.

– Орешь много.

– Делай, что тебе говорят.

Обходчик сердито выругался, но, разглядев лицо женщины, игриво заулыбался.

– Скучно там у вас небось. Пусти-ка погреться.

– Обойдешься, – спокойно ответила Мария и, проверив огонь в топке, ушла в вагон.

– Как тоскливо, – сказала она, укладываясь на нижней полке. – Душу бы вынуть к чертям, чтобы не тянула. Покрути-ка там, в приемнике. Может, споют что.

Наталья взяла транзистор, покрутила черные блестящие переключатели. Раздался треск, потом голос диктора, потом по вагону неспешно и негромко поплыла мелодия.

– Музыка одна, – грустно определила Наташа.

– Хорошая музыка, – подтвердила Мария. – Я люблю, когда тихо так, медленно играют. За душу трогает.

Она помолчала, не то слушая музыку, не то думая о своем, потом вдруг печально, с хрипотцой сказала:

– Эх, сейчас в лесу благодать. Чисто, просторно. А свету сколько – ходила бы и ходила. Так вот и думаешь – жить бы и жить. Просто бы жить, грибы собирать, костры жечь, в небо глядеть. Нет, накрутили себе люди, напридумали, какой только войны ни сочинили. А так-то сколько земли, воды сколько. Всем всего хватит, если бы по-доброму-то...

Наташа, соглашаясь, вздохнула наверху. Ей так тяжело, что хочется плакать. Она все еще ждет и смотрит в окно на улицу, где качается фонарь на столбе и катится по земле серый скомканный лист бумаги.

– Это все от любви, – убежденно говорит она. – Ведь у людей только мужчина и женщина. Вот.

– Ох и сопливая ты еще, – покачала головой Мария и повернулась на бок. – Спи, завтра выезжаем рано.

– Нет, правда, а зачем тогда жить? – с запальчивой быстротой заговорила Наташа. – Зачем? Тогда бы и жизни не было, и люди бы не рождались.

– Они вон и без любви плодятся, – гулко обрывает в подушку Мария. – Не от любви это, девушка, от греха.

– Ну какой грех-то, когда любишь? Мне кажется, когда любишь, все можно, – подумав, серьезно сказала Наташа.

Мария молчала, закрыв глаза. Тогда Наташа, свесив голову, спросила ее:

– Теть Маша, а вы любили когда-нибудь?

– Любила, наверно, – не открывая глаз, ответила Мария. – А может, и не любила. С годами все забывается. И ты все забудешь. Вот жить начнешь, и куда что денется...

Теплый голубой свет с вокзала мягко высвечивает простыни и лунно серебрит пол. Изредка захрустят по гравию шаги обходчиков да простучат тяжелые колеса проходящих мимо товарняков.

– Я, когда молодая жила, – усмехнувшись, начала Мария, – такая же дурочка была, как ты. Каждый день только про любовь и думала. Принца ждала все. За мной один милиционер ухаживал. Я, говорит, тебя, Мария, всю жизнь уважать буду. Нет, вишь ли, мне уважения не надо было. Это просто слишком, казалось. Мне любовь подавай, как в кино...

Наташа отвернулась к стенке и молчит. Потом вздыхает:

– Скучно здесь жить.

– Ты ремень сняла? – вдруг спрашивает Мария.

– Забыла. Да кому он нужен. Здесь поездов-то нет.

– Это ты сразу брось так думать. Раз положено – сними. Его, во-первых, просушить надо, а потом – проходимцев везде много. Залезут под вагон, срежут ради удовольствия, а ты плати. Как поездка, так десятка.

– Теть Маш, а говорят, в дороге серьезной любви не бывает. У тебя же серьезно было?

– Я тебе говорю? Ты поняла?

– Ну, поняла, поняла... – отмахивается Наташа.

– Это от тебя зависит – серьезно или нет, – подумав, отвечает Мария. – Как на это посмотришь. – Она улыбается. – Счастье... Оно, девка, когда серьезное, – тяжелее, чем беда еще. Беду все ждешь, как бы пережить. А с этим – нет, все больше и больше хочешь. Беда – она еще не спросит: прийти – нет. Пришла, и вся тут. Можешь не можешь, а тяни лямку. А к любви-то твоей не всяк подступится. Который поглядит-поглядит, да назад, чтоб не надорваться. Сейчас мужик не любит беспокоиться. Дохлый какой-то пошел. А она, если уж настоящая любовь, то, как смерть, страшна.

– И у вас страшно было?

– Может, если со стороны поглядеть, то как у всех. А мне страшно было. Я через это и замуж не пошла. Так всю жизнь и выла одна. Как волчица худая... Век бы ее не знать, любви этой... – Мария села, поджав колени. Углы ее крупного рта вяло опустились. – Не жди ты себе никакой любви. Выходи замуж за первого встречного да детишек рожай. Ребятишки пойдут, так баба садится на место. Редко какая на сторону глядит. Это уж те, кто живет хорошо, которых мужья обеспечивают.

– Теть Маш, расскажи про себя, а! Я же вам все рассказала.

– А чего рассказывать-то? Я же тебе говорю: дура была. Без памяти влюбилась. Домой, бывало, едешь – сердце рвется. Так и выглядываю из тамбура: стоит, нет он. Кудри, бывало, накручу. Одеться не во что было, а кудри крутила.

– Я тоже люблю, когда меня встречают, – жалобно подтвердила Наташа. – Я вот подъезжаю и думаю: хоть бы кто-нибудь встретил. Хоть бы сестренка. Так приятно... Правда.

– Хорошо. Я вот тоже думала, что моя любовь, может, на сто лет одна и случилась. – Она тихонько засмеялась, потом легла и неожиданно резко сказала: – Чертова пора! Маюсь, словно ошалелая.

– А почему вы не поженились?

– Вот не поженились. Это только в книжках люди счастливые. В жизни-то я только молодых видела счастливых, и то редко-редко... Жить я с ним рано начала. А раз до свадьбы открылась баба – пиши пропало. Он и глядит не так, и любит по-другому. – Мария сощурилась. – В армию он ушел, а мне рожать. Родила. Промаялась год. С дороги ушла вагоны мыть...

На перроне тихо, пустынно, только ветер свищет. Потом по перрону прошел солдат. Наташа с надеждой припала к окну, но грустно отвернулась.

– У меня тоже дети будут, – тихо сказала она. – Мальчик и девочка.

– Дай бог. Если муж хороший попадается, чего их не рожать.

– А сколько сейчас вашему?

– Тринадцатый год пошел. С бабкой вот остается. Такой проныра растет. Ни одной дыры не обойдет. В папу пошел. Ой, намоталась я с ним. – Мария вытянулась на лавке и, подняв полную сильную руку, стала разглядывать ее на свету.

– Отец-то к нему ходит?

– Да ходит он, – спокойно ответила Мария. – Сейчас ему что не ходить. Один, как палец. Я его и не выгоняю. Сама все сделала.

– Ой, а что вы сделали? – оживленно спросила Наташа.

– Хорошо-то не сделала. Ну да как сумела. Он в армии-то год всего служил. Списали его – грыжу нажил. Пришел – я к нему: «Миша, родимый». Миша от меня, как от холеры какой, шарахается. Ох и пометалась я тогда, повыла по ночам. Он ко мне пьянуший завалится с танцев, едва живой придет. Разую его, обмою, опохмелю еще утром. Господи, в глаза заглядывала, ходила. Думаю: останусь одна, как жить, кому нужна? Все старалась угодить, поперек – ни слова. Он меня и так и этак, терплю да молчу. Думаю, раз захотела – терпи. Отец ведь сыночку. Тогда ведь знаешь, как на одиноких косились. Это не то что сейчас. Какая уж тут гордость, думала, только бы не бросил. А то еще чище умудрялась: вечером сына усыплю – и в клуб, спрячусь в толпе, гляжу, с кем он танцует. Беда, как вспомню. Ведь не любила уже тогда. А ревновала. Работала на стройке, тяжело было, ребенок еще. И сходить куда-то хотелось. Бывало, попрошусь с ним в кино ли, в парк. Что ты, и не слушает, деньги у меня возьмет, и все. Поплачу, опять жду.

– Все они одинаковые, – вдруг обиженно сказала Наташа. – А дальше-то что, а?

– Да ниче, пропал совсем. Три месяца не было его. Потом пришел трезвый. В костюме, в галстук. Вина принес. Обрадовалась я, надеялась ведь. Сели, выпили, ласковый такой... Весь

вечер ни слова плохого мне. Я так сижу рядом. Вот дура была... Смотреть бы на себя век со стороны, как сейчас, сколько бы пользы было...

– Ну и что он? – нетерпеливо спросила Наташа.

– Ничего. «Я, – говорит, – Мария, женюсь. Девчонка она молодая, ей не надо знать, что я с тобой путался». Растерялась я. Так растерялась, прям оцепенела вся. Молчала сначала, потом заплакала, дура. «Миша, – говорю, – сын же у нас, ребенок – как же...» А он так это мне в лицо: «Да плевал я на тебя и на него. Я, может, не только с тобой, у меня их, может, десяток по свету. Что ж, на всех жениться теперь? Думать надо головой было...»

– Вот сволочь! – ахнула Наталья.

– Сволочь, – равнодушно согласилась Мария.

– Ну а вы что?..

– Да ниче. Слабая я была тогда душой. Я его даже выгнать не смогла. Лежу с ним ночью. Он спит, а я все думаю, девчонку его представила, молодую, ту, чистую, как их свадьба пойдет. Как она рожать будет от него. Как с дитем он нянькаться будет. И все вертится в голове: плевал он на моего сына, плевал, и все... Он ведь ко мне ходил, а на ребенка не заглядывал, я-то по бабьи думала: привыкнет – привяжется... А он вот как. Не скажи он тогда так – ничего бы и не было, а тут не стерпела я. Горше-то обиды нет для матери. Как нечистый меня поднял с постели, встала, хотела чаю попить да заплакала. Потом подогрела чайник, и вдруг подошла к нему, посмотрела ему в лицо, а потом вылила... весь кипяток... сама не помню как...

– Ой, – испуганно простонала Наташа, – правда?!

– Правда, – спокойно кивнула головой Мария. – Его в больницу, меня – в милицию. Судили потом. Отсидела, вышла. И ничего мне больше не надо. Все как рукой сняло. Вот тебе и любовь... Ну, хватит об этом. Прицепилась тоже. – Мария повернулась на бок и, словно забыв про Наташу, тонко и тихо пропела: «У меня другого нет, я тебя ждала...»

Наташа молчала, широко открыв глаза.

– Ой, как жестоко вы, – потом сказала она. – А сейчас-то он где?

– В общежитии живет. Ко мне вот ходит, встречается часто из поездки. Страшный, как смерть. Как я ему еще глаза не выжгла... Тихий стал, не пьет. Сыну велосипед купил недавно. Деваться-то ему теперь некуда.

Вагон вздрогнул, резко покачнулся и покатил. Замелькал красный фонарь сцепщика. С улицы кричал обходчик.

– Эй, еще давай... Вперед, говорю... У, тетеря, наработаешь с тобой.

– Обкатывают уже, – вздохнула Наташа. – А вот если бы все вернуть, если бы знали; вы бы, наверно, милиционера любили. Да?

Мария долго молчала, сощурилась глаза в окно.

– Вот «если бы» не бывает. Учись, пока молодая. – Помолчав, она грустно, словно для себя, добавила: – Никуда бы я от него не делась. С ним бы все равно сошлась. Видать, он судьба моя.

Утром Наталья стоит у вагона. Синяя проводницкая форма неуклюже висит на ней. Закончив посадку, девушка зашла в вагон, где три-четыре сонных пассажира вяло смотрели в окна. Мария кивнула ей из служебки и, сворачивая красный с желтым флажки, попросила:

– Затопи-ка титан. Хоть согреемся.

Машинист дал гудок отправления. Поезд покачнулся и тронулся. Медленно поплыл вокзальчик. Хмурый дежурный по станции, провожая, махнул рукой – все, мол, отправил.

Сразу за станцией поезд ворвался в леса. День поднимался медленно и спокойно. Все туман, туман сквозил в поредевших молочных березняках, да на миг открывавшиеся луга пятились отсыревшими снопами сена. Потом вдруг все ожило, растаяло, солнечно заиграла листва, и такая чистая синь установилась в воде и воздухе, что и горизонта не различишь, таким он кажется далеким в этом просторе. На разъезде, недалеко от путей, где поезд стоял

несколько минут, Мария заметила свежую, второго цвета, курчавую траву – мокрец. А это верный признак, что осень еще будет глубокая и ясная...

1976

Повести

Сок подорожника

Приснилась трава, мокрая и невысокая. И много ягоды в траве...

«Ягоды – к худу, плакать», – подумалось сквозь сон... Потом деревья, березы... и туман, туман... и мать выходит. Лица не видно, только волосы серым калачом вокруг затылка. И это забытое чувство радости и успокоения, когда она видела мать...

– Ноги болят, – обыденно сказала мать, проходя мимо Анны. – Все болят и болят. Совсем нет мочи никакой...

Она нагнулась неподалеку от Анны: искала что-то в траве. Анна ей в пригоршне ягоды – не то брусники, не то черники... вроде черное с красным огнем внутри.

– Нет. Не то, не то, – равнодушно скользнув взглядом, пробормотала мать и прошла мимо. Потом она сорвала лист с куста, помяла его пальцами, попробовала на язык. – Нет, не то! Не то!.. – и пошла...

А туман, туман наплывает... и Анна чувствует, что теряет мать. Силится крикнуть, но не может – сдавило все внутри и сил нет. А когда автобус тряхнуло, видимо, на повороте, Анна в дреме открыла веки. Солнечный луч от окна вонзился в зрачок, но Анна размяла яркое пятно, закрывая глаза...

Мать сидит на пеньке, бинтует ногу длинным и узким листом. Наклонилась, принялась к колену, жесточно сорвала повязку, зеленый сок тягуче подплывает на багрово-плотной коже. Мать ткнула в сок палец, попробовала на вкус.

– Не то, опять не то, – хрипло сказала она, вставая.

– Мама, у меня есть таблетки. Очень сильные...

– Зачем мне твои таблетки, – с досадой ответила мать и пошла, словно прорезая лес, сухая, узкая. – Мне сок нужен... сок подорожника. Вот всегда там много, много росло, а нету... Не могу сыскать...

– А точно сегодня дождь будет. Зря едем, товарищи... – Каркающий жесткий голос прервал сон, Анна вздрогнула. Проняло до испарины – и сон и голос, и не сразу поняла, где она.

– Мать, нельзя же так. Взбеситься можно, – заворчала сидевшая неподалеку Антонина, встряхиваясь тоже после сна. – Хрипишь, как старый алкоголик.

– Ну если у меня голос такой, – пробубнила Егорова.

– Помнить надо об этом.

Егорова повернула к стеклу обиженное неяркое лицо, хотела еще что-то сказать, открыла рот, но промолчала.

Антонина подкрашивала губы, солнечный луч, стрельнув от ее зеркальца, прошел сзади по глазам Валерки Зуева. Тот тревожно дрогнул, захлопал ресницами. Антонина, заметив это, в упор навела на него зеркальце и, остро поднимая подбородок красивого молодежавого лица, улыбалась.

Валерка усмехнулся и хмуро отвернулся к окну.

Автобус вдруг так тряхнуло, что Олег, дремавший рядом с Анной, резко передернулся, ткнулся носом в ручку переднего сиденья и застонал.

– Видали, а? – остановив автобус, возбужденно крикнул в салон шофер Толя. – Нет, вы видали? Как он его!..

– Ну что еще? – растирая лицо руками, недовольно спросил Олег.

– Ястреб голубя – слушай, как он его! Кружит, кружит, как голубь его не видел, а? Ох, таранул! И облетел... Слушай, выжидает.

– А голубь? – проснулась Тюлькина.

– Что голубь, лежит кверху лапами.

– Как это? Раненый?

– Может, убитый...

– Слушай, я пойду, я подберу его... Так нельзя.

– О господи, – простонала Антонина, ероша перед зеркальцем густые, черные волосы, – не мешайте природе жить. Все это розовые слюни, милая.

– Знаешь, мне всегда жалко...

– Тюлькина, – перебил ее Олег, – в твоём подъезде кошки живут.

– Ну и что...

– Дохнут зимой в подвалах. Что-то я у тебя ни одной кошки не видал в квартире. А ведь тоже природа...

– Я думаю, природа уже тем хороша, что я есть и сижу с вами в автобусе. – Антонина щелкнула сумочкой и повернулась ко всем нежно подсвеченным от окна быстроглазым, изящным личиком. Земляничный аромат – основная ценность губной помады, которую она за бешеные деньги доставала где-то в Прибалтике. Антонина засмеялась и, подняв с затылка сыпучие волосы, лукаво подмигнула: – А? Цените!

– Пижма! Толя, пижма, – подала вдруг голос Заслуженная. – Подожди, я быстро наломаю.

– Что вы, что вы, Софья Андреевна, – испуганно встрял Венька. – Товарищи, мы опаздываем...

Шофер вздохнул и взялся за руль. Старенький автобус затарахтел, зачихал, тронулся. Оленька вынула из сумочки вязание, растянула его на коленях. Анна с нескрываемой уже неприязнью выглядела светлую прядь над розовым Оленькиным ухом и в который раз подумала, что ей самой тоже пора научиться вязать.

– А мне жалко, мне всегда всех жалко, – грустно продолжала Тюлькина.

– У нас ты одна добрая, – хрипло сказала Егорова, – остальные так, пеньки...

– Прекратите базар, – лениво остановил ее Олег. – Пора подумать о спектакле.

– Я не машина. Хватит того, что я три раза в день кручусь в ширме. Если об этом еще думать с утра, я сама скоро куклой стану. Молотим с утра до вечера, – негромко вздохнула Антонина, – и никаких тебе переработок.

– Искусство должно быть подвижным, – задумчивым басом вставил старый артист Гомолко, ковыряя спичкой в зубах.

– Ну вот, все проснулись, – откликнулся на его голос Олег, – читайте газеты.

Анна нашарила пальцами под рукавом у Олега часы, муж понял ее по-своему, обнял под кофточкой, шершаво провел ладонью по голой коже. Анна быстро отшатнулась от него, оглянулась – не видит ли кто.

– Глупенькая, – грустно шепнул ей в ухо Олег и, отвалившись на спинку сиденья, воззвал: – Споем, граждане республиканцы!

– Проснись и пой, – ответила ему Тюлькина, заерзала на сиденье. – Толя, ты полегче там, я навожу лицо.

– Дома наводи, – весело ответил шофер и прибавил газу.

Показались деревянные домики за длинным забором. – Приехали! – рывкнул шофер и остановил автобус. – Похоже, что не ждали, – встревоженно забормотал Венька, оглядывая через стекло закрытые ворота пионерского лагеря.

– А мы приперлися...

– Пых-пых, приехали...

– Сон, – задумчиво сказала Заслуженная и пожевала травинку. – Такие сны зря не снятся. – Жесткое, коричневое, часто отекавшее лицо актрисы как бы окаменело.

Они сидели на траве у цветной изгороди пионерского лагеря. Заслуженная с трудом сдерживала дыхание, отфыркивалась, всей спиной привалившись к заборчику, поглаживая темные, полные ноги с выпершими сосудами.

– Я умру от ожирения, – следя, прищурившись, за стремительно-юркой Антониной, сказала она. – У меня не выдержат ноги.

Она вздохнула, обвела полусонным взглядом подсыхающую невдалеке траву.

– Опять дождя не будет. Посохнет все к чертям. Куда дело годится, палит и палит. Земля, вон, как стриженная. Косить-то что тут? А?

– Между прочим, я косить умею, – встряв в разговор сообщила Тюлькина. Она стояла чуть поодаль в красном трикотажном костюме, яркая, картинная, с высоким колоколом начесанных темных волос. – Первый мой муж обожал размяться по утряночке. Выйдешь с ним в поле, роса как жемчуг, как перламутр... Нет, я обожаю природу...

– Сколь ценное открытие, – с ядовитой вкрадчивостью, остановившись напротив Тюлькиной, промурлыкала Антонина. – И что же вы косили?

– Траву, Антонина Андреевна!

– Интересно, а я по своему неразумению думала, что траву на лугах косят.

– Ах, не все ли равно?

– Тюлькина, – весело окликнул Валерка, – анекдот про тебя. Бежит обезьяна по лесу, кричит: наценка, наценка...

Тюлькина оскорбленно подобрала пухловатые покрашенные губы, повернулась и молча пошла к воротам.

– Валера, – резко остановила его Заслуженная, – ты чего ее травишь? Чего ты бабу травишь-то? Послабей кого ищешь? Сбегай вон о забор почешу язык, коль нейдет.

– Да я анекдот, Софья Андреевна, анекдот...

– Э-х! Мужик!

Заслуженная отвернулась от него. Утро вызревало, наливалось густой жаркой синевой, запекалась трава у забора, клубился парок под нежной заводью чистого неба, четко выщелкивая, пела птица в кустах. Вдруг замолчала, вспорхнула, потрянув ветками, мельтеша рябью крыльев. Заслуженная смяла розово круглившийся блин сыроежки.

– Сон, как звонок, иной раз, – сказала она Анне. – Так вот идет-идет жизнь. Тужишься-маешься, думаешь, не хуже других живешь. Как люди, так и ты. А как зазвонит, приснится оттуда – эго, мол, тебя занесло. Раззудит, оглянешься, и вся твоя суета гроша ломаного не стоит. Перед смертью Максима мне тоже мать приснилась: пришла, лица не вижу, чувствую, что мать. Смотри, говорит, горит ведь. Почему ты не видишь... Эго, жизнь бестолковая!.. Я вот теперь все прошлым живу. Ворошишь все в памяти, ворошишь – война, детдом, Максим все снится. Правду бают: откуда пришел, туда и вернешься. Из праха ты вышел, прахом и станешь... – Она помолчала и, пригнувшись к грибной размятой каше в руке, спросила: – А у тебя когда мать померла?

– Да у меня живая мать, – вздрогнув, чуть не крикнула Анна и осеклась под недобро высветившимся взглядом Заслуженной.

– Жи-ва-я! А чего же ты молчала?

– Да не было разговора...

– Не было! Ох, Анна, Анна... – Заслуженная поднялась, придерживаясь одной рукой о заборчик, расправила вниз туго сидевшее на ее большом рыхловатом теле скользкое, приглушенного цвета платье, пошла, переваливаясь. Потом оглянулась, задумчиво бросила Анне: – Нехороший сон. Побереглась бы ты...

Ворота лагеря оставались запертыми. В прохладной глубине аллейки показался стриженный мальчик. Он подошел ближе и недоверчиво спросил:

– Это что, кукольный театр приехал?

– Кукольный, – авторитетным басом подтвердил Гомолко.

– А нам не говорили...

– А мы при... ехали, – вздохнул Валерка и покосился на Заслуженную.

– Ура-а! – завопил стриженный мальчик и тут же скрылся в кустах.

Антонина, разноцветным веером разметав юбку вокруг колен, сидела на траве, подтачивала пилкой пунцовые стрелчатые ногти. Она красиво повернула вслед мальчику аккуратную свою головку и с ворчливой хрипотцой выговорила:

– Обратите внимание. Дети о нас в светлых снах не ведают. А мы уже руки к ним протягиваем. Посмотрите нас, пожалуйста... Я сегодня едва поднялась. – Она заметила несчастное, растерянное лицо Веньки, рысцой бегущего по аллее лагеря, и заговорила громче, четко выговаривая слова: – Это свинство, так рано назначать выезд. Вчера приехали в девять вечера, а сегодня выехали в семь утра. Право, я начинаю уважать себя. Знать бы только, кому это нужно.

– Детям, – коротко ответил Гомолко, вынул из кармана колоду карт, подмигнул Валерке: – Перекинемся?

– Я понимаю, – ядовито кивнула Антонина, – детям. Одно только не могу уразуметь, – сказала она открывавшему ворота Веньке, – чем думает наша администрация, когда назначает выезд?

– Не стоит волноваться, Антонина Андреевна. – Олег улыбнулся актрисе. – Выезды назначаются согласно инструкции. После длительного переезда вам положен час отдыха. Прошу вас, отдыхайте. Вот трава, вот солнышко, вот речка. Посвежеете, похорошеете...

– Ого! – Антонина бросила пилку в сумочку, звонко прищелкнув замочком, медленно поднялась. – Благодарю вас, – любезно улыбнулась она. – Я и без того свежа, Олег Иванович. Кушайте эту травку сами, а то наша труп-па, – с ударением произнесла она, – давно подозревает, что у вас в голове вместо извилин заложена инструкция.

Олег побагровел. Антонина, ласково улыбнувшись, легко покрутилась перед ним на каблучке и неторопливо пошла, чуть покачиваясь.

– Да-с, – глядя ей вслед, задумчиво сказал Валерка. – Не трожь голодную бабу. С утра...

Заслуженная, стоя у кустов молодого низкорослого осинника, долго и печально смотрела ей вслед.

Антонине было под сорок. Легкая, стремительная, изящная, она напоминала Анне статуэтку из японского фарфора. Казалось иногда, что вот раздайся мелодичная шкатулочная музыка – и Антонина в такт ей замысловато и медленно затанцует. Жила Антонина счастливо, безмятежно, скрашивая свою судьбу нечастыми любовными переживаниями. Розовую ее благоухающую квартирку, руководствуясь прихотливым вкусом хозяйки, обставляли многочисленные ее воздыхатели. Антонине ничего не стоило слетать на выходные в Прибалтику за помадой или в Ленинград за модной пластинкой и тут же подарить ее кому-нибудь. В театре ее побаивались за острый язык и неистребимую страсть к мелким интригам. Сама Антонина не боялась ничего. Никто не мог лишить ее места в театре, как и места в жизни. Однажды она принародно обозвала директора театра старым ослом, и когда эта бурная склока закончилась тем, что его неожиданно сняли с поста, она бровью не повела. Мол, ничего другого нельзя было ожидать. С Заслуженной Антонина не то чтобы враждовала, но относились они друг к другу с ревностным и пристрастным отчуждением. Хотя избегали ссориться и едва здоровались, следили за работой друг друга с враждебным, уважительным вниманием.

Анна вздохнула и перевела взгляд на Оленьку. Оленька, присев в сторонке на пенек, вязала. Анна не могла понять, отчего она так не любит Оленьку. Оленька пришла в театр сразу после окончания училища. Она училась именно на кукольном отделении, диплом получила с

отличием. И какой ступила два года назад на порог театра: аккуратненькой, свеженькой скромницей, опрятной, старательной девочкой, – такой и осталась. Оленька не совала нос ни в дела администрации, ни в семейные дразги актеров, в работе делала ровно столько, сколько указывали, не срывалась, не взлетала высоко, ни с кем не склочничала, с женщинами говорила только о тряпках, с мужчинами скромничала. Ее имя не замешано ни в одной из мелких и частых скандальных историй в театре. У Анны было ощущение, что Оленька проработает в нем всю жизнь, может, даже звание заработает за добросовестность и постоянство. Кроткий и прилежный вид Оленьки всегда вызывал у нее раздражение.

Заслуженная тяжело посмотрела на Анну.

Подошел Олег, оглядел жену быстрыми беспокойными глазами.

Резко спросил:

– Что с тобой?

Пожала плечами:

– Пойду на речку схожу. Погуляю.

– Я с тобой.

– Нет, не надо.

– Анна!

Она обернулась, уже отходя от него. Он в упор смотрел на нее. Лицо его ожесточенно натянулось, и сейчас, в который раз, она подумала, сколько в муже дикого. Особенно в минуты напряжения, в жесткие минуты ссор.

– Через час начинаем, – глухо сказал он ей. – И не промочи ноги. Еще росно...

Анна отвернулась и пошла.

В кустах ее догнал Венька.

– Ты слышала? А? Народные-то наши. Лауреаты всяческих премий...

Его, видимо, уже хорошо облаяли, и он догнал ее, чтобы пожаловаться. Венька снял очки, суетливо и нервно вытер их грязным платком, и покрасневшие, подслеповатые беспомощные глаза его казались такими жалкими, что она пожалела его. Его облаяли не только потому, что он администратор в театре, что такая уж у него работа. Венька до этого был актером не чувствующим ни слово, ни куклу. Попросился в администраторы. Но и администратор он плохой: нет в нем расчетливой деловой жилки – суетится, бегаёт, и все без толку. Плана нет, из каждой командировки недостача. Актеры считают себя вправе на него наорать.

– Рано они-с встали-с. Позавтракать хотят. А? – Венька всхлипнул. – Им все равно, им ни до чего нет дела... А ты куда?

– Я пройду, Веня, голова болит.

– А я хотел рассказать тебе... Да это уж ни к чему. Я договорился о завтраке. Не опоздай... Ну ладно, после спектакля расскажу. – Он махнул ей рукой и скрылся в кустах.

Анна вышла из ворот лагеря и пошла по тропке, мелким стежком вихляющей вдоль реки. Утро уже расплывалось, медленно переходя в день. Легкий, чуть зудивший жар щекотал кожу, и Анна в это утро как-то особенно была взбудоражена и бодр. Три лагеря, в которых они должны были играть сегодня, самые дальние от города. Актеры не любили ездить далеко, и потому, когда Венька подписался ехать сюда, в театре вспыхнул очередной скандальчик и трещал не умолкая до тех пор, пока все не расселись на свои места в автобусе и не поехали. Лишь одна Антонина, зевая, продолжала говорить, что она от долгой тряски теряет свою свежесть.

Все промолчали на этот раз. Кто бы что ни терял, а ехать надо. Эти места еще не глухие, но отсюда начинались крупные бревенчатые села, жившие своим, особым стариковским укладом. В этих местах, Анна знала, охотились, хотя и вряд ли удачно. Там, в глуби леса, встречался кедровник, росло много сосны, и потому лес от темной зелени казался густым. Эта земля напоминала Анне родные места, и она подумала печально, что и сон о матери, и приезд сюда,

видимо, не случайны. В жизни всегда так исподволь, незаметно, а сойдутся и свяжутся потаенные нити судьбы.

Лето опадало. Спокойная густая синь отстаивалась в воздухе. Все уже определилось: урожай хлеба, ягоды, грибы и травы, и вызревало семя будущего года, и потому спокойно и чутко было в зрелой природе, только нет-нет да и принесет ветер что-то пронзительное и свежее – это от близкой сибирской осени.

Показалось, женщина стоит на том берегу. Пригляделась – нет никого. Береза отбилась от леса, молоденькая, обыкновенная, но уже сутуловатая, чуть клонится вниз. Анна оглядела дерево еще раз, и нехорошо стало на душе от смутной, все прибывающей тревоги. Река – неторопливая, широкая, с прозрачной синеватой водой, четко пульсирует сильное течение в глубине. Там, у горизонта, казалось, смыкаются таежные сопки с седоватым призрачным дымком над верхушками. И во всем этом: в затихшем воздухе, в суровом перелесье, в буйном, но строго выписанном кустарнике – ощущалась особая сибирская резкость, незамутненная чистота пространства.

«Когда же я успела забыть все это, – подумала она, закрывая глаза, – и разве можно жить без этой земли, годами ходить по асфальту, мыться теплой, пахнувшей хлоркой водой, привыкнуть к парам бензина и ядовитой ныли, как здесь привыкают к травяному привкусу воздуха. И ни разу за все эти годы не екнуло под сердцем, не вспомнились ни сырые, по весне, зеленые поскотины, ни сытный густой мык неспешно бредущего стада, даже парного теплого молока не хотелось...»

Лишь однажды, года два назад, в октябре, ночью вдруг проснулась и вот с такой же, как сейчас, неожиданной тревогой лежала под голубоватым, серебрившим стекло окна светом луны рядом с похмельно сопевшим Олегом и вспоминала. Даже не вспоминала, а так, помимо воли, осязаемо, ярко привиделось, как работали с матерью ночами на току в отделении.

Ровно жужжит веялка. Мать внизу в фуфайке, обвязав от въедливой пшеничной пыли голову шаленкой так, что лишь темная прорезь для глаз мерцает, согнувшись, деревянным пихлом медленно, неумолимо подсыпает зерно под тархтящие щетки машины. Анна наверху высокой хлебной горы закопалась в зерно по шею, греется, разглядывая землю. Ночь лунная, морозцеватая, звенят в воздухе редкие бабьи голоса. За невысокой изгородью, далеко где-то в поле, блуждает желтый свет комбайна. Зерно подсыхает, твердеет, и слышно, как оно бьется, отлетая...

И наплывало, наплывало... Серебристые лунные искры над зерном, когда медленно въезжал самосвал на ток, и побитые заморозком, сладковато-сохнувшие поздние лебеда и польнь по заборам. И горы, горы крупного зерна под лунным звездным небом. И мать, согнувшаяся над веялкой...

Больше Анна в ту ночь вспоминать не смогла, не выдержала, разбудила Олега...

Анна открыла глаза, глянула на ту сторону реки. Снова показалось – женщина в платке машет рукой...

Вздрыгнула, испуганно встряхнула головой. Нет – береза под ветром...

Вспомнила вопрос Заслуженной: «Давно ли мать померла?» Легла наземь, открыла глаза в чистое, горящее синевой небо, сорвала рядом упругий, отдающий терпким запахом стебель тысячелистника...

«Так тебе и надо», – подумала про себя...

* * *

...Мать понимает в травах. Училась у бабки Марфуши и сама знала. Заготавливали не нарочно, так, походя. По весне еще, как ходили за черемшой, мать собирала березовые почки и лист, чуть позже – спорыши, крапиву, шалфей. Потом донник, кровохлебку, польнь. В июле

чистотел, позже тысячелистник, зверобой... Утрами, в сырых замшелых низинах, непременно в тумане, под заклятья бабки Марфуши, со всей ребятей, полусонные, продрогшие, собирали богородскую траву, мелкую, цепко плетенную, как паутина, отдающую чисто таежным, вроде багульника, запахом. От всех болезней. А летом все болячки и раны залечивали подорожником. Детей пятеро у матери. Две старшие девки довоенные, взрослые, рано уехали из дому. Старшая – замуж в соседнюю деревню, вторая – в район учиться на курсы механизаторов, там же и вышла замуж, так и не вернулась домой. Сашка, старший брат, послевоенный, мужик крепкий, охотник, хозяйственный и уже многодетный. Потом Анна. Младшего брата, Андрея, отец уже для себя и по себе воспитывал. Года четыре Анне было, пошла по поселку зараза. Пятерых ребятшек из села увезли в район, троих там же и схоронили. У матери свалился младший, Андрей. Исходил кровью, вяло канючил, потом совсем – пластом... Марфуша, как тень, ширкала по дому, ворчала:

– Не отдавай в район – спекется мальчишка.

Принесла графин настоянных трав – пои.

Вечером приезжал из района доктор – пожилой мужик, красивый, в начищенных ботинках, топал ногами и кричал: не повезешь в больницу – под суд пойдешь. Если помрет до завтра – посажу. Вылил настойку из графина, графин об стайку – вдребезги. Только он за порог, Марфуша – шустрая, маленькая – вытащила из-под полы банку с питьем – пои. Всю ночь они с матерью колдовали над братом. Утром, едва забрезжило, мать завернула почти неживое, вяло обвисшее тело сына в старое одеяло, понесла огородами через поле к лесу. За ней Марфуша – швыркала подвижным острым носом, полусогнутая, востроухая – чистая крыса. За ними бежала Анна, путаясь в длинной материнной фуфайке. Мать недосматривала за нею, выхаживая младшего. Пересекли впадину, перешли ручей. Анна разулась, цепляясь за бабкину юбку, шла сама.

Полусине, сыро, прохладно; гладкие, скользкие от тумана валуны. Прошмыгнул бурундук, вскричала и закружилась, картавя, сорока, моросью обдал обвисший куст смородины.

На горе, в осиннике, положили брата в густой травник. Пока мать несмело, словно вслепую, разворачивала одеяло, Марфуша что-то судорожно шептала на восток.

– Живой, – испуганно прохрипела мать, трогая лобик Андрея губами.

– И не бойсь, выживет, – успокоила Марфуша так же шепотом. Она проширкала калошами по полянке, указала матери: – Сюда, Анна, помогай, мой ноги братцу.

Нетрудно было искупать в росе уже почти бесплотное, нежилое тело. Трава густая, высокая, и не только Андрей, сама Анна до макушки выкупалась. Закричавшего, словно только рожденного, брата напоили теплой настойкой, досуха вытерли, укутали. Потом мать сидела на траве под осинником, глядя перед собой иступленными горестными глазами. Марфуша все искала что-то по полянке и негромко говорила матери:

– Сама учись. Ишь разошелся, посудину разбил, окоянный. Дай им волю, уложуть и не спросят. Вон уж трое померли. Господи, господи! Человек должен сам искать. В горе никто не укажет, где светлей. Чуть надо, собирать, все помнить. А всех слушать будешь, как кол останесся...

Днем опять приезжал доктор из района. Увидав мальчонку дома, не стесняясь, трахнул мужицким матом, кричал – судить буду. Однако воткнул Андрейке несколько уколов. Настойку Марфуша прятала. Утром опять уносили брата – купаться, поили травами. Днем снова приезжал врач, ставил уколы. Кто знает, кто из них помог, только Андрейка, – по словам мужика, конченный, – выжил. А слава, как водится, осталась бабам. С тех пор, после Марфуши, мать считалась в районе лучшей травницей. Из дальних сел к ней за помощью приезжали.

Так же вылечили года три спустя Черныша, любимого пса, заболевшего по осени. Мать утром завернула его в старую шаленку, отнесла на ту горку, положила под березой. Им с Андрейкой, ревевшим без удержу, сказала негромко:

– Они, собаки, сами знают, что себе искать. Не бойся, учует, выровняется. – Сняла с себя платок, ровно пригладила жесткие темные волосы, задумавшись, смотрела на холодный просвет оплывающего облаками неба, трогала руками березу и гладила волосы, словно видела себя в зеркале.

Всегда было что-то напряженное в ее прохладном темноглазом лице. Словно каждую минуту ждала чего-то и боялась все. И ходила она несмело, словно прислушиваясь к себе. Тогда, под утренник, мать долго глядела в небо. Белки глаз ее засинели, высветились. Она подняла руку, поправила волосы на затылке, худая шея ее по-детски беспомощно вытянулась. И так жалко стало ее какой-то непосильной для души, давящей жалостью. Словно что-то рвалось внутри. И мать, и собаку, и брата, и этот синий полумрак на земле. Не выдержала, скривив губы, надрывно и гулко заревела:

– Мама, ма-а-ма, я тебя никогда не брошу. Я всегда буду с тобой жить...

За ней тут же подтянул Андрейка, привыкший в те годы ее во всем повторять. Мать оторвалась от березы, погладила брата одними пальцами по щеке, поцеловала:

– Что вы, что вы, дитятки мои, что ты, ягодка, лешачок мой, солнышко. Выживет Черныш. Ты – тьфу, тьфу, тьфу, – помоги господи – вот он, а ему раз плюнуть. Найдет себе травинку, слопают и будет у нас...

Подумав, мать вытащила из-под собаки шаленку. Вытряхнула ее о березу, перевязала на плечах Андрейки крест-накрест.

Из ручья пили воду. Мать разгоняла ладонями ржавые капли мелкого листа, подносила к губам глубокие, до ломоты леденистые пригоршни. Когда собирали красную смородину с высоких узких кустов, мать, кормившая с рук Андрейку, неспешно растягивая слова, чтобы хоть как-то приласкать Анну, сказала:

– Красивая ты у меня деваха будешь, дай господь, выкохаешься, вырастешь... Выучишься...

Подстелив под себя малоношеную синюю фуфайку, лежала рядом с ними лицом к небу, выводила хрипловатым несильным голосом:

Соловей ку-ку-у-ушке-е

Выго-ва-а-а-ри-вал...

* * *

... Анна села. От поворота реки плыл человек, и даже отсюда было заметно, как он устал – много суетливого и неверного в движениях. Анна подумала, что по такой реке одному плыть опасно, – сплавная, топляка много. Потом пришла в голову мысль – если ему вздумается утонуть, что может сделать она! И эта мысль вызвала у нее раздражение. Почему при ней, на минуту за все лето присевшей в раздумье? Приспичило же ему тонуть!

Человек, видимо, заметив Анну, пробивался к берегу, но капризное течение выбрасывало его, выдохшегося, на стремительную и ровную середину потока. Анна подумала, что бежать в лагерь за помощью бесполезно, не успеет. Отчаянно махнув рукой, спустилась вниз к воде, держась за сухие, вымытые половодьями корни деревьев. Потом юзом проехала по сыпучему склону, ободрала ноги, влетела в воду, высоко замочив подол платья. А он уже барахтался близко, даже что-то кричал ей, но за шумом воды она ничего не разобрала, выскочив из воды, засуетилась вокруг тяжелого, под кость размытого бревна на берегу. Сдвинуть его не смогла и тогда закричала, испуганно, до слез, сама не помня что...

Его вынесло далеко вниз. Выползал, подтягиваясь руками, судорожно, со всхрапами дышал. Она подбежала, села рядом на гальку, не зная, обругать его за тот страх, что пережила, или спасибо сказать, что не утонул.

– Ой-ее-е, – протянул он наконец со стоном. – Фу-фу- фу-фу, – и открыл глаза. Насильственно улыбнулся и хрипло сказал: – Ну чего испугалась-то?

Анна нервно хохотнула, покачала головой, встала и пошла вдоль берега.

Он, видимо, поднялся за ней, она слышала шумок его дыхания, замедлила шаг.

– А ты молодец, – просипел он над ухом. – Молодец!

Она обернулась и, отстранившись чуть, оглядела его. Парень молод, видимо, моложе ее, здоровый, свежий, веснушчатая кожа, еще синеватая от воды, зеленоватые, крапчатые глаза.

– Мать-то есть у тебя?

– Ну а ты как думаешь...

– Правильно! Выкормила тебя, бугая. А потом бы следа не нашла...

– Это ты зря. Я еще сто лет жить буду...

Поднялись на берег. Он сразу упал на траву, раскидал руки, глядя в небо. Загорелая кожа его еще ознобно рябила, но грудь дышала ровно. Она присела рядом, оттягивая на колени мокрый подол платья.

– Хорошо. А? – сказал он. – Нет, хорошо! – Где-то неожиданно и глухо затукала кукушка, и оба они наострили уши, высчитывая.

– А ты говорила! Еще, еще, еще, – подстегивал он кукушку, рассмеялся, и она рассмеялась за ним...

– Ты деревенский? – спросила она.

– Из Мишелевой, – подтвердил он.

– Чего здесь делаешь?

– Купаюсь...

– Каждая голова свой камень ищет.

– Мой камень далеко-о!

Она улыбнулась ему, он ответил тем, что провел пальцем вверх по ее ноге. Это ей не понравилось, он понял и, отвернув голову, неожиданно и неправильно пропел: – Раз увидишь – больше не забудь... Слушай, я до Шаманки хотел сплавать. Там такой пляж! Пляжик что надо!

– Ну и что ты там делаешь?

– Ворон считаю, – спокойно ответил он. – Что там больше делать. Там лес горелый, воронья много!

– Ну давай, считай. Сколько же времени сейчас?

Он развел руками – мол, счастливый, – сам сказал:

– Рано еще. Давай сплаваем до Шаманки?

– Сейчас! – в тон ему спокойно усмехнулась она. – Вот посижу только немного.

– Ну посиди. Я подожду.

Трава была теплой, шуршала под пятками. Разошлась дымка на реке, успокаивались перед жарой птицы. Грохнул и прокатился выстрел. Анна вопросительно посмотрела на него, он махнул рукою – так. Балуется кто-то.

– Ну дак что, поплыли?

Она не ответила.

– Боишься?

– Сам ты боишься. До Шаманки не доплыл.

– Это я тебя увидел. Не смог мимо...

– Бабушке своей расскажи...

– Ты, наверное, воду-то только из-под крана видишь.

– Ну уж до Шаманки-то доплыву...

Она не боялась его. Сработала, как это редко, но бывает, память на «своего» человека. Было в нем что-то легкое, мальчишеское, забытое ею в городе. Наверно, таким стал брат Андрейка. Анна вспомнила, что этим летом она еще не купалась, хотя с самого открытия лаге-

рей они ездили мимо таких рек и речек. Как-то хотела искупаться в заливе, но Олег отговорил, да и времени было мало, два-три спектакля в день с переездами. К вечеру себя не чувствуешь и ничему не рада. Анна вздохнула, со спокойной решимостью расстегнула платье на груди, сняла его через голову, осторожно развесила на куст, чтоб подсохло, и, немного стесняясь городской вялости своего тела, пошла к воде. Она шла напряженно, неестественно, показалось, что парень идет вслед, оглядывая ее, но, уже вступая в воду, обернулась, увидела, что он еще стоит наверху спиной к ней и смотрит в перелесок.

– Ну, ты идешь? – капризно спросила она.

– Конечно, – спокойно ответил он и, не глядя на Анну, стал спускаться к реке.

* * *

...Вечерами мать, если не шила ребятишкам, уходила к Марфуше. Старуха жила одна. Старика в войну потеряла, а двое детей разлетелись по городам, едва оперившись. Говорят, звали ее к себе. Марфуша в город не поехала.

– Ездила я туды. Видала. Залезешь в эту клетушку. Встань торчком да стой молчком. Лупи глаза. Срам, ей-богу. И только. Я ее, воды горячей, и тута согрею, печка, слава богу, хорошая.

Хозяйство у Марфуши – корова да кот.

– Одиннадцатый по счету, – говорит она. – У меня ни один кот не пропал. Вот как сошлись мы со своим, завели кота – считай, этот одиннадцатый. Все коты. Брала котов. Ленивые они, коты, и не охотники. Зато дома. Года два-три пошастают по ночам – и на печку. Милей ему уже не надо. А те, расщеколды рябые, до сивой поры все блудят. Как заорет под окном, хоть беги из дома...

Мать слушала ее и со всем соглашалась. Она всегда со всеми соглашалась. С соседками, с отцом, с Марфушей. Кивнет головой и молчит. Марфуша же словоохотлива. С утра до вечера молотъ языком может. Корову выведет за ворота: «Танька, – кричит матери, – иди, че скажешь!..»

Мать еще корову к стаду подгоняет, а Марфуша уже частит языком, все побайки вспоминает.

– Если б я такая, как Танька, была, я бы вон на той березе еще до начала века свесилась. Мне хоть Буренке под хвост, да пошептать надо.

Мать согласно кивнет головой и уткнется глазами в шитье. Она любила мелкую, кропотливую работу, рукодельничала, вышивала, слушая ручьиные речи Марфуши. С Марфушей они дружили всю жизнь. Старуха рассказывала, как мать еще девчонкой на ее свадьбе из-за печи выглядывала. А потом, когда мать выходила замуж, Марфуша плясала на ее свадьбе. Первых ее девчонок сама принимала. Отца Анны Марфуша не любила: ходили слухи про него и про Таньку Андрееву из конторы, бабу еще нестарую.

– Блудный сын да потаскушка нашли друг дружку, – фыркала Марфуша, зыряя глазами в сторону заплаканной матери. – Тут уж, Танька, ничего не поделаешь. Если уж у мужика завелся в крови блудящий микроб, он пока не выбесится, а гулять будет. Потерпи. Я те вот че скажу, если уж немоготу совсем станет. Ты его пьяного отчубушь по загревку, чтоб кости поутру зазвенели... И тебе полегчает, и он посмотрит-посмотрит, да подумает еще. Как в другой раз, да с кем связываться.

Как-то под осень, после одного из скандалов, мать решила. Она выпроводила Анну с Андрейкой к Панке Жуковой, Анниной сверстнице и соседке, на заложку закрыла калитку.

Анна постояла немного подле лавочки, потом шепнула Андрейке: «Беги до Панки, кликни ее ко мне», – и вернулась к дому огородами.

Мать вслепую тыкалась по ограде, потом нашарила в темноте узкое полено. Несмело подошла к сидевшему на крыльце мужу, замахнулась. Рука ее как бы сломалась в воздухе и повисла вместе с поленом. Она замахнулась еще раз, потом с силой отбросила полено, села рядом на крыльцо и заплакала. Анна медленно подошла к ней, ткнулась носом в плечо, почувяла жестковатый, резкий запах лука, исходящий от рук матери, всегдашний запах ее рук, и заплакала с ней в голос...

Потом пришла Панка, крепенькая, как гриб боровичок, невысокая смешливая толстушка, и завала ее к себе ночевать на сеновал. Ночь стояла черная, с мелкими сыпучими, зелено чертившими небо звездами. С гольцов тянуло сыростью, предосенней прохладой. Поселок потонул в темноте, он словно проваливался в таежных распадках, светя ввысь желтыми оконцами. Поселок небольшой – двадцать два двора, магазинчик, школа-трехлетка. До железной дороги далеко. Надо пешим ходом идти до совхозного отделения. Оттуда автобусом до райцентра, а уж с райцентра автобусом или чем бог пошлет до станции. А там можно уехать в город, в неведомую, большую, будущую жизнь, о которой с замиранием сердца думалось и мечталось, и даже снилось, что она ищет дорогу в город, но найти так и не может...

Анна лежала рядом с Панкой в пахучем сене, под овчинным тулупом, смотрела, как лучится звезда сквозь прореху в крыше, и думалось ей, что вырастет, уедет в город, выучится на артистку и заберет с собой мать. На улице, у клуба, пели девушки. Они тянули какую-то странную, тягучую, печальную песню, пели грустно, будто сами жили так же тяжело, с постылым мужем и злой свекровью, как та девушка, о которой в песне поется. И во всей этой ночи, в звонкой и ранней ее прохладе, в этих падающих в глухую зыбь звездах, и в песне, и в блуждающем внизу по дому говоре Панкиных родителей, – во всем напряженно и чутко жила какая-то печаль. Звезда в прорехе все укрупнялась, становилась ярче, яснее, а воздух вокруг нее чернел и зыбился, песня затихла, и собака в своей конуре прекратила скулить и зевать, и почувствовалось на миг в этой тишине невидимое чье-то присутствие, тайное и могучее дыхание чужеродной силы.

Панка не то спала, не то затихла просто, как сурок, сжалась, ткнувшись Анне в плечо. Анна закрыла глаза и загадала: «Если я досчитаю до пяти и будет так же тихо, то я не стану артисткой, а если будет звук, то стану...»

Она медленно досчитала до пяти, и на последнем счете тишина сломалась – у клуба растянули мехи баяна, и Таня, старшая Панкина сестра, просватанная уже за бригадирского сына Лешку Агеева, со звонким напором, вызываяще выкрикнула:

Черт с тобой, что ты красивый,
Я тобой не дорожу,
Я такими ухажерами
Заборы горожу...

Панка тут же встrepенулась и вскочила, выглядывая в дверцу чердака.
У клуба завозились, затопали, и тонкий лихой девичий голос оборвал Таню:

От воды бела не буду —
Я умоюсь молоком.
Меня маменька ругает,
Что гуляю с дураком...

– Юрка Тарасик пришел, – блестя глазами, сказала Панка.

Она была влюблена в Тарасика и как-то даже поклялась, что замуж только за него выйдет или так в девках и останется.

Юрка Тарасик, кудрявый тихоня, гулял уже с девчонкой, своей одногодкой. Скоро его призовут в армию, и Панка спокойно говорила о его подруге.

– Она его не дожидается, ветродуйка такая... А я как раз ему под пару выровняюсь... Вот посмотришь... Беда, какой красивый, – вздохнула Панка о Тарасике. – Чернявенький, еще бы усики – и картинка, а не парень.

– А если он не вернется? – опасливо спросила Анна.

– Я его под землей сыщу, – деловито ответила Панка. – Все равно мой будет...

А какой будет у нее, у Анны, и что там будет впереди? Что там впереди, за этими лесами, пригорками, елками, вытопанной поскотиной, бревенчатыми селами, за этой сырой скукой сибирской глуши?

Под утро в молочном тумане, пригибаясь под окнами, чтобы не видела мать, возвращалась Таня. Обласкав девчонок, счастливо и коротко засыпала. Уже когда совсем светло, она тормозила их: подавала теплое, первой дойки молоко, сама жевала хлеб.

– Андрейка дурак у вас, – сообщила она Анне. – Тятя родимый говорит, что вчерась подглядывать лазил к Ивашкиным, на баню... Отодрать его, как Сидорову козу, и все тут...

Она сладко потягивалась, падая на ворох сена, и замолкала, улыбаясь чему-то потаенному, своему и, сдобное, слегка побледневшее от бессонной ночи ее лицо круглилось, довольно сияя ямочками. Девчонки понимающе смотрели на нее, и каждая думала о своем. Панка о Тарасике, а Анна, глядя на счастливую, нацелованную, намилованную Таню, думала, что у нее будет не так. Ничего схожего ни с Таниной радостью, ни с полынной жизнью матери. У нее будет высокая любовь, такая красивая, как в книгах. И у нее дух захватывало от такой мысли.

– Вон твой батянька поспешает, – глядя на улицу с сеновала, сообщила Таня. – Встречай родимого.

Отец стучал кнутовищем в калитку, не глядя на Анну, хмуро приказывал:

– Спроси у Таньки квасу.

Потом пил его жадно, до капли, утираясь рукавом, ворчал:

– Иди во двор. Сейчас мать пришлю. Бегаете, меня позорите...

Трактор у отца отобрали, он едва не утопил его в болоте.

Сейчас он пас частный скот. Иногда наутро мать выгоняла стадо на пастбище сама. Позднее он приходил к ней, нескладно и тяжело оправдывался, что проспал. Она молча бросала ему кнут и уходила домой.

Сколько себя помнит Анна, всегда хотела быть только артисткой. Марфуша звала ее обезьянкой за умение передразнивать подружек и поселкового дурачка Володеньку. В редкие дни, когда приезжала передвижка, задолго до начала фильмов Анна прибежала к клубу. Одиноким примостившись у порога, по многу раз пересматривала с восторженной жадностью добрые, сентиментальные довоенные фильмы. Вечером, после кино, тайком от матери переодевалась в праздничное ее шелковое темно-синее платье с оборками, которое отец привез с войны, стягивала платье сзади у пояса, тревожно всматривалась в зеркало...

Панка наблюдала за ней и строго экзаменовала:

– Ну-ка, покажи Орлову...

Анна изображала Орлову из «Волги-Волги» или артистку из сильно нравившегося ей фильма «Машенька».

Панка, во время Анниних представлений согласно кивавшая головой, позже сомневалась: «Цыганистая ты какая-то. Как полено обгорелое. Я одну артистку видела, – врала она, – та беленькая такая, мягкая...»

После выпускного вечера Анна, ни слова никому не сказав, отправила документы и заявление в город в театральное училище. Фотографироваться ездила в район и просила фотографа, чтобы побелее сделал. И ждала почтальоншу каждый день, как мать родную. А когда та вручала ей казенный конвертик, то Анна так растерялась, будто и не думала, что придет

письмо. Показала матери вызов на экзамены, та долго не могла понять, в чем дело, и только прочитав черные печатные буквы грифа училища и свою фамилию, заплакала, вытирая фартуком слезы – и от счастья за дочернину жизнь, и от обиды за свою, – будто все уже совершилось и Анна готова в актрисы. Долго пришлось втолковывать, что это еще только вызов.

Отец почесал затылок и хмуро бросил:

– Я те покажу артистку. Отца позорить. Мало тебе клуба вон...

Однако повздыхал, глядя, как собирается Анна, потом подтянул штаны и пошел к соседке отметить событие.

Провожала в город ее одна мать. С Панкой они простились накануне. Подружка даже немного позавидовала, но потом весело протараторила весь вечер и написала длинный список, что ей купить в магазинах города. Двинулись до отделения пешком, попутки не случилось. Мать сама несла чемодан через кукурузное поле до легкого, уже золотистого березового леска. Потом остановилась и, с напряженной жалостью в лице глядя на дочь, всхлипнула.

Анна молчала, серьезно глядя на мать. Мать высокая, костистая, сутулилась перед нею, сморщилось от слез темное тревожное ее лицо.

– С парнями не связывайся. Учись больше. Если захочешь сойтись, чтоб все по-доброму. Помяни меня: баба как жизнь начнет, так она у нее и покатится. Чтоб не так, как девки балуются, а серьезно, со счастьем. Счастье вначале спугнешь, потом не догонишь. Ну, Христос с тобою. – Она нагнулась, взяла ее голову, поцеловала в волосы и заплакала.

Анна подняла чемодан, пошла оглядываясь.

– В столовой устройся, если что, – крикнула мать, – питание там. Или в детский сад какой, нянечкой. Там тоже кормят!

Анна медленно входила в березовый лесок, часто оглядываясь, и, казалось, уже отдаляется и деревня и мать, отодвигается все, и рвущее чувство жалости к этому, родному, кровному, смешивалось с тайным страхом и радостью перед тем, что еще предстояло. И пока она шла через лесок до поворота дороги, мать все смотрела на нее, стояла высокая, сутулая, в обвисшей темной юбке, резиновых черных сапогах, и, приложив конец платка к губам, смотрела и смотрела ей вслед...

* * *

Высоко в небе летела птица. Иногда она застывала на короткий миг, чтобы собрать силы, потом резко взмывала вверх, кружилась и застывала опять. Наконец она прилепилась где-то там высоко, казалось, на уровне с солнцем, крошечной родинкой, и не двигалась. Анна вошла в воду, и сразу цепкой дрожью занялось тело, и она растерялась, но ее спутник так просто и спокойно лег на воду, поплыл, не глядя на нее, что и ей пришлось, чтобы не отставать, суетливо забарахтаться. Сначала она плыла торопливо и всем непослушным, отвыкшим от настоящей воды телом. Быстро выдохлась. Парень, выплывший рядом, заставил ее отдыхать на спине, потом тихо поддержал:

– Не торопись. Спокойно...

Наконец тело вспомнило, что нужно делать, словно освободилось и нашло опору. Размеренней и строже стали движения, чувствовалась в плечах сладостная рабочая сила, верная и послушная, и оттого хотелось наработаться, натрудиться в мягкой податливой воде.

Парень теснил ее на середину, на течение, где легче плыть. Пока она отдыхала на спине, он глубоко нырял, отфыркивался, тоже ложился на спину, вздрагивая телом, как большой белый поплавок.

Начиналась Шаманка. Проплыли острый, совершенно острый, совершенно отвесный край горы. Подошва горы, досуха обветренная, бугрилась рыжей глиной.

– Не смотри вверх, – быстро подсказал парень, и это подтолкнуло ее тут же задрать голову. Горячая белизна неба выслепила глаза, казалось, что солнце врезается в острый пик горы и сыплет белым сухим светом. Пронзительно и странно занялось на сердце, и закружилось, запестрело вокруг...

Парень подхватил ее у пояса, она вцепилась ему в шею так судорожно, что он резко дернул ее за плечо, чтобы она отпустила. Потом поймал ее уже под водой, держа на одной руке, дал отдышаться.

– Держись за спину, – прохрипел он, и Анна, успокоившись, стараясь быть полегче, усиленно работала ногами.

Едва добрались до прибрежной гальки. Долго лежали, отвернувшись друг от друга. Анна смотрела в небо, и в который раз сегодня оно изменилось, засинело высоко, воздушно, чистой подсвеченной синевой.

«Ух ты!» – подумала она, закрывала глаза.

Встала, чувствуя слабость в ногах: пошатываясь, поднялась на берег.

– Не доплыли, – вздохнул он сзади. – Жалко.

Молча шли к лагерю. Тропинка, растоптанная, размятая, как кожа, холодила ноги. Парень обогнал, шел впереди. В кустах черемухи он придержал ветку, и Анна быстро уловила острый, горьковатый запах дерева.

«Боже мой, – подумала она, – будто я раньше не знала черемухи».

Вышли на полянку, густо поросшую, пятнистую от ромашки. В глубине у низкорослого краснотала паслась лошадь. Она подняла им навстречу умную голову, спокойно подождала, что будет.

Какое странное утро. Как будто в густой круговерти дней выдалось чистое время. Вот живешь, просыпаешься, ешь, работаешь, книги читаешь и ходишь по земле под небом, и однажды утром вдруг разбудит что-то тревожное, глянешь вокруг – и сердце замирает. Какая земля кругом! Трава растет, река, лошадь пасется...

Парень, высоко поднимая ноги, медленно подошел к лошади, уверенно запустил в сизую гриву руку, погладил, успокаивая. Лошадь присмирела под его рукой и равнодушно опустила голову. Анна с другого бока ткнулась в жесткую, солоно бьющую потом шею животного. Легкой рябью подернулась шкура, лошадь дрогнула, подавшись вперед.

– Но, но, но, – успокоил ее парень, поглаживая по морде, – хорошая животина! Хорошая, умница, рабочая лошадка, – грустно добавил он, – скоро спишут.

– Тебя как звать-то?

– Виктор. Витька...

«И все-то», – подумала Анна, улыбаясь:

– Пойдем, Витя. Попадет мне сейчас...

– Пойдем, – согласился он, чмокнул лошадь в лобастую голову. – Ты что, пионервожатая?

– А я шофер, – просто сказал он, выслушав ее, – шоферюга. Мать моя как начнет чистить меня за пьянку. Шоферюга, кричит...

– Ты что, пьешь, что ли?

– Ну как пью! Как все... Мы с ребятами вчера собрались. Они все женатые давно, детей позапустили. Ржут надо мной. А мне обидно. В холостой когда компании – ничего. А с ними обидно. А вчера, между прочим, нахвастал по пьянке. Завтра, мол, женюсь. Мол, давно у меня одна на примете...

– Ну и есть кто?

– Да нету у меня никого. Мать моя говорит: докопаешься, свалится ведьмака на шею, всю жизнь не очухаешься.

– Не нравится, что ли, никто?

– Да нет, иногда нравятся. Но не так уж чтобы. Ты вот мне сразу понравилась. Сидит, смотрю. Тихая такая. Тихоня. В тихом омуте чертей много!

– Много, – согласилась она и улыбнулась. Пальцами на ноге захватила пружинистый стебель молочая, потянула вверх. Стрекнул рядом в траве кузнечик, закружила, плавно снявшись с поваленной березы, неторопливая, слинявшая в ярком свете ворона, покружила, словно раздумывая, и, каркнув, высокомерно подалась за реку. Анна проследила за ней и вздохнула в полную, свободную силу успокоенного дыхания.

– Ты чего так? – прищурившись вслед вороне, спросил он. – Тяжело?

Уже спал мелкий озноб неожиданности, испугаться она не успела и только сейчас подумала, что могла бы утонуть, могла бы и не стоять сейчас здесь, и ощущение жизни словно вернулось к ней, и она стояла, глядя вниз, на серое, зловеще-спокойное течение реки, блаженно и растерянно улыбаясь.

Виктор посвистел.

– Я часто плаваю по утрам, – сказал он. – До лагерей, обратно пешком. Вместо физзарядки. Если бы не ты, дотянул бы до пляжика. Что?! Думаешь, после гулянки ослабел? Тебя просто увидел... Мне вчера мужики накаркали... Ох и жизнь!

Вся труппа театра стояла на берегу, на том месте, где подсыхало аккуратно развешанное ее платье. Туфли растерянно вертела в руках Заслуженная. Напряженный единый выдох вырвался при их появлении, все сразу расслабились, засуетились, пришли в себя. Заслуженная рывком обняла ее, тыкая туфлями под лопатки.

– А-ня, Аня! – простонала она изменившимся голосом. – Славу богу. Ты с ума сошла! Разве так можно... У меня ведь ноги. – Она всхлипнула. – Я не смогу работать.

– Ну вот, ну вот, – нервно зачистил Венька, – такую подняли панику. Человек просто купа... – Я не договорил, глядя на нее. – Видимо, сам не понял, как это так можно.

Тут все увидели рядом Виктора, здорового, молодого парня, и замолчали.

– Где ты была? – ледяным тоном, четко спросил Олег.

– Я купалась... – растерянно ответила Анна.

Глупое, счастливое лицо ее оскорбило Антонину.

– Ну вот, извольте радоваться. Девочка просто искупалась. – Она пожала узкими плечиками и с нервным смешком продолжала: – Всего-то. Такой анекдот, Олег Иванович, только в нашем театре мог случиться. – Она осторожно обошла Виктора, с любопытством зыркнула ему в лицо круглыми черными глазами, потом, деловито оглядев его сзади, словно ударила его в спину резким, базарным тоном:

– Я буду жаловаться. – Круто повернулась, пошла легко и ритмично, поправляя на ходу волосы.

Тюлькина, в ярко-красном брючном костюме, с высоким начесом на голове, стояла, не сводя глаз с Виктора.

– Я даже не позавтракала, – кукарекнула Егорова и побежала догонять Антонину.

– Вы, наверное, из лагеря? – пропела Тюлькина, подходя к Виктору.

– Нет, я из деревни, – ответил Виктор. Он нагнулся, сорвал у ног Анны ромашку и, подавая цветок, сказал ей: – Я еще приеду сегодня. – Медленно, не оборачиваясь, пошел по тропе.

– Ты знаешь, я как вспомнила сон... и это платье, – все еще отдувалась Заслуженная, – и река, и никого. Венька прибежал: где Аня, где Аня. Все оборвалось внутри...

– Какой сон? – быстро и беспокойно спросил Олег, глядя вслед уходящему Виктору.

– Да так, это наше, бабье, – тяжело махнула рукой Заслуженная. – О господи... Пойду очухаюсь.

– Нас же дети ждут...

– Красивый парень, – замороженно произнесла Тюлькина. – Он женатый?

– Анна Андреевна, – Венька вспомнил свои обязанности, – одиннадцатый час. Как минимум полчаса уже должен идти спектакль. Дети давно на местах. – Он сбавил тон и, оглядываясь, проворчал: – Ты что, мать, мы останемся без обеда. Они же тебя сожрут. И вообще... – Венька взмахнул перед ее носом портфелем и побежал к лагерю.

– Ты голодная? – предупредил ее оправдания Олег. Он осторожно вынул цветок из ее руки, бросил его в траву, растер носком ботинка. Достал из кармана пиджака помятую булку.

– Спасибо, – виновато и робко ответила Анна, взяла булку, глядя вниз на размятый вместе с ромашкой небольшой жесткий лист подорожника.

– Как хорошо купаться утром. Я совсем забыла, что... – проговорила она, но запнулась, переведя взгляд на посеревшее, вытянутое от бешенства, бескровное лицо мужа...

* * *

В училище она поступила сразу. Жизнь ее резко переменилась, забурлила, время понеслось, как щепу, болтая, обтесывая и выделывая Анну. Бессонные, молодые, неумные ночи и говорильня в общежитии. Уроки мастерства, фехтования, просмотры спектаклей, галерка в областном театре, капустаники. Звон ночных трамваев за окном, неоновым огнем светящийся город, ночные гуляния по притихшим улицам. И разговоры, разговоры. Не было ни единого незаполненного часа. Как слушала все, сколько открыла для себя, сколько радужных дум о манящем будущем. Училась жадно, с той добросовестностью, к которой приучила ее мать. Письма писала домой длинные и обстоятельные.

В эту первую зиму вдали от дома она с большей роднящей жалостью поняла и полюбила мать. Мать присылала посылки с птицей, сало, варенье и слезно в каждом письме просила соблюдать себя и ни с кем не связываться. Сестры тоже писали ей длинно, обстоятельно, уважительно и присылали деньги. Редко, правда, но Анна знала, как трудно им сберечь и оторвать от семьи эти деньги.

Нежданно хорошо начиналась ее жизнь. Так, как она и думать не могла.

Анна встретила Олега на одном из капустаников в общежитии училища. Ждали местных поэтов. Девчонки готовились представлять отрывок из «Коварства и любви», волновались. Первый курс, все внове, все волнует, все свежо и ясно воспринимается. Анна должна была читать Багрицкого, ходила по залу взад и вперед, непрерывно повторяя стихи. Удивила всех Зойка, она пришла в костюме, стилизованном под украинский, в ярко расшитой сорочке, с алой лентой в русых волосах. Пышная, белотелая, с добродушным лицом, с ленивыми движениями, она сразу выделялась из стрекочущей стайки юрких и голенастых девчонок. Наконец гости прибыли. Вечер начался. Первое слово предоставили гостям, и Анна увидела, как поднимается на сцену невысокий мальчик с гитарой, в синей джинсовой курточке. Он прочитал два стихотворения, бесстрастно глядя в зал, потом пел песни Вертинского, так же без выражения, суховато, как читал стихи, и Анна думала, что это от напряжения...

Зойка преподнесла ему цветы, как и всем, шутливо и важно поклонилась, и Олег густо покраснел и учтиво склонил голову в знак благодарности. Анне казалось, что ему не хватало белого кружевного воротника, бархатной курточки, башмачков с блестящими пряжками. Весь он был как молодой барчонок из старых книг, которыми Анна зачитывалась в детстве. Потом в перерыве, когда Анна с Зойкой прохаживались по залу, он неслышно подошел к ним сзади и негромко сказал: «Мадам, уж падают листья». Тогда только что вышла пластинка с песнями Вертинского, и в общежитии только ее и крутили. Обе они обернулись. Зойка добродушно рассмеялась, и по ее смеху Анна поняла, что Олег обратился так только к Зойке, и растерянно отошла от них. Потом они танцевали, Олег осторожно вел в танце спокойную, что-то равнодушно говорившую ему партнершу, и Анна видела, как нервно подрагивают его тонкие, белые

руки на мягком Зойкином плече. Поздно вечером он уходил из общежития. У дверей галантно поклонился и глуховато сказал Зойке:

– Я надеюсь бывать у вас.

– Да, да, – насмешливо разрешила Зойка. – Бывайте.

В общежитие он стал ходить ради Зойки, и все знали это. После нескольких его посещений Анна поняла, что безнадежно влюблена в Олега. Ей казалось, что в детстве, когда она думала о своей любви, она думала о нем...

...Олег приходил в общежитие поздно, позже всех, садился в угол комнаты на пол, молчал, оглядывая всех, дымил в потолок, трогал тонкими, быстро снующими пальцами гитару. К тому времени разливное красное с махорочным осадком вино было выпито, наговорено до хрипоты, накурено: сизый дым плавал наверху. Все уставали, никто уже ничего не хотел. Тогда вспоминали об Олеге. Мальчик в джинсовой курточке, тонкий, темноглазый, с аккуратными височками замкнутого нервного лица пел бесстрастным, сухим голосом, остановившись глазами на черном квадрате окна, пел Окуджаву, переложенные на музыку стихи. Он и сам тогда писал стихи, читал их так же монотонно, как и пел: «Ах, рассказать кому бы, горькие эти губы, нежные эти руки...» Кривил рот, отыскивая странно мерцающими при тусклом свете общежитской лампочки, суженными, жесткими глазами Зойку. Зойка, голубоокая красавица, здоровая, как телка, возлежала где-то в глубине кровати за спинами теснившихся на краю девиц и молчала. Иногда она поднимала на стену полную белую руку, водила холеной кистью, сыпая известку вниз, и Олег завороченно, бледнея, следил за ее рукой. Анна, сидя на подоконнике, вытягивалась в струнку, старалась не смотреть на них, но не могла и страдала.

Когда появился Олег, время, казалось, остановилось и начался напряженный, нервный сон. Олег жил в коммунальной комнатке, в старом доме на той стороне реки. Он закончил это же училище, выхлопотал себе распределение в ТЮЗ, но к тому времени из театра его выставили, и он умалчивал, за что. На что он жил, неизвестно. Видимо, содержали родители. Отец его, полковник, года два назад с матерью Олега и двумя младшими сестренками уехал на Восток. Семья оставила Олегу хорошую, однокомнатную, обставленную всем необходимым квартиру. После того как он затопил соседей внизу, оставив открытым на целый день кран в ванной, и совсем перестал платить за квартиру, ее грозились отобрать. Тогда Олег сменял ее на комнату с доплатой и с полгода жил на эти деньги. Воспитание в офицерской семье выработало в нем аккуратность, подтянутость, но заниматься каким-то одним делом, зарабатывать себе на хлеб он не хотел и не мог. Даже свои стихи он не пытался, как его друзья, напечатать.

– Все это блеф, – презрительно говорил он. – Жить надо для души.

«Блеф» – любимое его слово. Он был непохож на других. Говорил мало, нервно, но в то, что он говорил, Анна почему-то верила безоговорочно. Зойку, ко всему на свете равнодушную, разговоры Олега об искусстве, поэзии нимало не трогали. Она сонно глядела в потолок и, перебивая Олега, говорила, что ей хочется яблок. Олег вставал, молча уходил, через час возвращался с яблоками. Анна оскорбленно поглядывала на эту мягкую красавицу и думала, что вот ей не дано так просто нравиться Олегу.

– Да брось ты, – равнодушно цедила ей Зойка утрами. – Такой же, как все. К тридцати годам облысеет и отрастит себе брюхо. Устроится, как петух на нашесте. Все страсти-напасти куда денутся. – Она была уже повидавшая виды, спокойная и добрая девка. Видя напряженное, ревнивое, замкнувшееся лицо Анны, предлагала: – Ну, хочешь, я вам устрою... Сама поймешь. Бабы, пока не обдерут себе шкуры, ничему не верят...

Анна резко выходила из комнаты, хлопала дверью, плакала под лестницей, приглушенно и обиженно.

– Ой, да ты не уходи, – бесцеремонно просила Зойка Анну, когда Олег приходил днем.

Однажды Олег неожиданно позвал Анну в кино. Кляня себя, краснея, Анна суетливо и быстро собралась. Зойка, добродушно улыбаясь, покачала головой им вслед.

Раздирали, брызгая соком, лимоны у овощного киоска. Олег высасывал, не морщась, желтую, чуть подгнившую мякоть, ели пирожное, смотрели, как, распушившись, купаются в лужах голуби. Олег ловил ладонью капель с карнизов, говорил быстрым глуховатым голосом.

– Все мы жестоки, как избалованные дети, – сказал он ей вечером на темной, подмерзающей дороге и взял ее за руку. – Потом, мы так одиноки. Если бы мы захотели хоть немного поступиться собой, чтобы понять друг друга...

Через несколько дней он привел ее в свою комнату. Он жил так, как она это себе представляла. Обшарпанный стул в углу, груда книг на полу. На давно не беленной стене портрет Хемингуэя. На посеревшей от пыли старой книге развалился мохнатый, рябой кот. Зыркнув на Анну, кот недовольно поиграл на свету желто-зелеными кругами в глазах и убрался, потягиваясь. Олег быстро пьянел. Проступало что-то звероватое и суетливое сквозь нежный лик мальчика, он нервничал, вставал, быстро ходил из угла в угол.

– Если бы рассказать тебе, как я гнил здесь, в этих стенах... Годами, годами и слышал, как что-то уходит от меня... – сказал он, склоняясь страшноватым в отчуждении, белым жестким лицом ей в колени. – Боже мой, боже, боже, как мы одиноки... – Она не обняла его – обволокла, новым для себя, материнским движением, всем чутким и жалостливым, что было в ней, словно утешая и залечивая его рану.

«Да, да, – прозревши, думала она, целуя вздрагивающую голову, благодарная и встревоженная его откровением. – Я чувствовала в нем, я поняла...»

Ночью она поднялась с постели. Олег спал и не услышал ее. Громадная, влажная, с серебристой подпругой, луна зияла вверху окна, и в прозрачном мерцающем свете утихшее лицо Олега снова стало тонким, мальчишеским. Видно, хорошее ему снилось. Он не улыбался, но что-то теплое и немающее совершалось сейчас в нем. Она подошла к окну, глядя на вздымленные дома спящего города. Казалось, свет исходит от земли и тянется вверх, живой и нежный и что-то поднимается из потрясенной и благодарной ее души.

«Ну вот, ну вот, – думала она, закрывая глаза, – вот все и произошло. Теперь он не один... И я не одна...»

После первой их ночи Олег стал холоднее и замкнутей, словно боялся чего-то. Но она продолжала ходить к нему. Тягостное и надрывное было в их любви. Она чувствовала, что не нужна ему, но когда он приходил за ней, то быстро собиралась под сочувственные вздохи Зойки.

Шлялись по городу. Толкались в гостях у каких-то бородатых, невымытых художников, где курили и молчали длинноволосые девицы в коротких юбках.

После нескольких скандалов, устроенных Олегом в общежитии, Анну выставили за дверь вместе с чемоданчиком. А потом отчислили и из училища за пропуски. Анна перешла жить к Олегу. Жили они впроголодь, на что и как придется. Зато много ходили по гостям, а там, как всегда, пили.

Ночью Анна просыпалась, тенью проходила на кухню, боясь разбудить соседей, глотала воду. Часто в эти похмельные минуты указующе и мягко вспоминалось строгое крестьянское лицо матери, тихие и печальные ее уговоры: «Не связывайся, доченька, ни с кем. Вначале должно быть счастье. Если сразу счастья не будет, его потом не догонишь...»

Стыд перед матерью рождал страх будущего. Стараясь ни о чем не думать, она проходила в комнату, валилась рядом с бесчувственным телом Олега.

Часто ссорились, а однажды из-за пустяка подрались.

От боли Анна озверела. Даже отец рано перестал хвататься за ремень, и в деревне с ней не очень-то связывались подростки, зная ее бешеную вспыльчивость. После бесполезных попыток осилить ее Олег ушел и не появлялся три дня. Она металась по комнате, боясь выйти к соседям. Соседи не очень с нею церемонились. Она слышала, как одна из них, пожилая уже, мать троих взрослых детей, сказала вслед: «Да кто она ему? Так, приبلудная...»

– Приблудная, – с ужасом повторяла она, ожидая Олега, – приблудная... Кто же она ему больше...

Она не знала, что будет дальше и будет ли что. Олег бросил ее, он бросил ее, и что теперь делать? Она никогда не работала, она не знала, когда и как ходят устраиваться на работу. А где она будет жить? Найти в городе комнату ей не удавалось. А вернуться домой в деревню, к измотанной матери, к брату и сестрам, писавшим ей длинные уважительные письма, как к городской, к артистке, в дом, где отец будет тыкать на нее пальцем и кричать, что она опозорила его и семью...

Сжиться, слиться, стать тенью, только бы не бросил...

На третий день Олег появился в комнате. Он явился свежий и радостный, будто только что вышел в магазин за молоком и по дороге встретил приятеля.

– Я все устроил, – вместо приветствия весело сообщил он ей и легонько щелкнул пальцем по носу. – А ты думала, кто я у тебя? А? Глупенькая... Значит, так... Мы с тобой работаем, знаешь где? В кукольном театре. Я помреж и осветитель. А тебя он берет в штатные актерки. – Он помолчал и, вздохнув, добавил: – Главреж театра – он в общем-то сразу предлагал перевести тебя на кукольное... Слушай, заметил ведь... – Прищуренные его глаза на миг жестко замерцали...

Какой благодарностью к нему наполнилась ослабевшая ее душа. Тогда и потом. Тогда пособачьи...

* * *

Венька мелькал по лагерю. Перебегал из одного корпуса в другой. Маленький, беспокойный, в черной, свисающей с плеч куртке, он то и дело спотыкался, поправлял очки, взмахивал руками и ни на минуту не бросал своего черного портфеля.

Клуба в этом лагере не было, играли в столовой. Отряды уже выстраивались у стеклянной ее веранды, ребятишки галдели, облепив окна и прижав белеющие носы к стеклу. Самые проворные из них вертелись меж актеров, вроде как помогая. Их тянуло, как к меду, к ящикам с куклами.

– Мальчик, – устало отозвала одного Заслуженная. – Зачем трогаешь куклу?

– Я посмотреть... Никогда не видел...

– А... Ну ладно...

Заслуженная сама развернула свою куклу – кота – и показала, как тот водит лапкой.

– А рот? – осмелел мальчишка.

Кот мякнул. Мальчишка, большеротый, зеленоглазый, с выгоревшими вихрами, взвизнул от восторга и покосился горделиво на окна: «Смотрят!»

– А тебя как зовут-то? – спросила Заслуженная.

Егорова помогала Валерке ставить ширму. Вообще-то в ее обязанности входило гладить перед спектаклем куклам костюмы. Она была влюблена в Валерку и не упускала возможности хоть как-то побыть рядом с ним. Сейчас она растягивала вместе с ним здание ширмы, как бы нечаянно, тронув его за руку, некрасиво, почему-то носом покраснела и, чувствуя это, поспешно отвернулась от него.

Валерка досадливо поморщился и хмыкнул. Он перехватил за рукав пролетающего мимо Веньку.

– Слушай, анекдот вспомнил: медведь поехал в Америку...

Венька непонимающе глянул на него, шмыгнув в другой конец столовой, где ребятня нетерпеливо подпирала дверь.

– А почему не впускают детей? – встревожилась Заслуженная.

– Я сейчас, счас я. – Тюлькина готовно ринулась к дверям. Пышная, яркая, она откинула крючок и, открыв светлые створки легких дверей, величаво нарисовалась на пороге.

– Дети, – протяжно и с удовольствием сказала она, – дети, сейчас мы дружно построимся и спокойно, вы слышите меня, спокойно войдем в зал.

Уставшая от ожидания, горячо галдевшая ребячья стая уже мало что могла услышать. Тюлькину оттолкнули, с грохотом прорывались в зал. Она стояла в стороне, изумленно всплескивала руками, закатив круглые глаза, охала.

Антонина рассмеялась, а Гомолко удрученно пробормотал:

– Ну и публика! Всегда с ними ералаш...

Старый актер сросся с театром, вжился в него. Все свои речи он начинал с фразы, что тридцать лет работает с куклами. После этих слов он делает значительную паузу и продолжает:

– Я пришел в театр подростком...

Он ездил тогда по области рабочим сцены. В войну, когда играть было некому, переквалифицировался в актера. Актер он средний. Усвоив в работе основные штампы, он орудует ими всю жизнь, не утруждая себя поисками и прозрениями. Гомолко басовит, размашист, высок и дороден. Любит поговорить о превратностях актерской судьбы, порассуждать о творчестве. Учителя в школе и молоденькие пионервожатые в лагерях слушают его почтительно, раскрыв рот. Говорить просто Гомолко не умеет, он задумчиво вещает хорошо поставленным густым басом. Сейчас, глядя на Антонину, он сделал скорбное лицо и, пригладив волоски над лысиной, постоял минут пять так, свысока глядя на озабоченную суету вокруг.

– Начинаем. – Олег встал, деловито и коротко разводя руками, словно осаживая всех. – Валера, проверь домик. Тюлькина, на место! Все! – и включил магнитофон.

Спектакль начинала Заслуженная. Слабым отблеском растерянной робости отозвалось на мгновение ее лицо. Но только на миг. Она, словно прислушавшись к себе, решила, выпрямилась, подобралась. Фыркнула и резко, как солдат, подняла руку с куклой. Пошла работать.

Ревниво загорелись глаза Антонины, она со своей куклой в руках тихо отошла в тень прожектора, выслеживая легкие движения Заслуженной.

Анна стояла наготове, как и все вокруг, следя за ходом действия.

Заслуженная вела кота. Кукла, хорошо и умело сработанная, оживала в ее руках с первого взлета ладоней. Вихрастый, пронырливый, с хозяйской хваткой, кот уверенно держался перед зрителем. Казалось, они жили отдельно, кукла и Заслуженная, в разных мирах, но точно, словно токами общаясь, подначивали друг друга. Ехидно и слаженно: жест руки – и повадливый цап-царап быстрой лапки, слитый и вкрадчивый поворот голов. Даже резкий прыжок кота повторило напряженное ее тело. Широкое, мускулистое лицо актрисы было оживленно.

Антонина, оскорбленно протрепетав ноздрями, вывела свою куклу – мальчика-пионера. Она вяло работала сегодня. Антонина – актриса вдохновения, не ведавшая таких сильных истоков, как Заслуженная. Ее игра всегда зависит от настроения и обстоятельств. Нынче ей ничего не высветило, и Антонина отработанно отвечала на реплику. Злорадно залаял в ухо Тюлькиной Гомолко, от его лая вздрогнул Валерка, поддерживающий домик, Тюлькина зашипела в ладонь, показала кулак. Гомолко прорубил своей собакой воздух над ширмой, затих вместе с куклой.

Кокетливо захихикала в углу Оленька, мягко повела свою кошечку. Анна исподлобья следила за нею. Эту роль Оленька удачно работает. Сама кошка, игривая скромница со скрытыми повадками. Надо было видеть, как она алела, хваленная за кошечку, глаз не поднимала. Рысь. Какая уж там кошечка...

Анна закрыла глаза и подумала, что она нащупывает природу ненависти Заслуженной и Антонины, она сама заболела этой болезнью. Явных еще признаков никаких, по без усилий над собой Анна не может спокойно смотреть на смиренную вроде бы, благожелательную Оленьку. Она испугалась, что Оленька может обернуться сейчас и прочтет ее мысли. Быстро отпрянув в тень, Анна обернулась и вздрогнула...

Олег, сидя в углу на ящике, мрачно следил за нею. Когда жена обернулась, он молниеносно очерил розовую громадную пасть своей куклы – волка, сощурил зловеще мерцающие в темноте глаза. Неожиданно растерявшись от жесткого его взгляда, Анна поднялась на цыпочки и, не дав Оленьке договорить призывную реплику, вывела своего зайца.

Олег работал уверенно и безразлично. Два раза он нарочито сбивал ее с текста, и Анна терялась. Выручала Заслуженная с котом, вставляла свои реплики.

Спектакль распадался, Олег редко говорил точный текст. Сейчас же он, не задумываясь, быстро, словно голами, в расчете на слабую реакцию, забивал ее своим, выдуманым тут же...

Анна слышала, как Валерка, поддерживающий картонный домик, озлобленно произнес:

– Ну и дурак же ты, волк.

– Я буду жаловаться! – на ухо Олегу угрожающе прошептала Антонина.

– Не отвлекайтесь за работой, – громко ответил ей Олег.

Заслуженная весь спектакль держала руку с котом вверху, готовая в любую минуту ринуться на спасение спектакля. После спектакля она подошла к Олегу и размахнулась, едва остановив кулак у самого его лба.

– Как дала бы! – в сердцах процедила она. – Ух-ух. Подлец...

Олег отвернулся.

– Ну он же помреж! – нервно выкрикнула Антонина, – ему все позволено. – Больше никто не посмел сказать что-либо Олегу. Анна слышала, как Гомолко бубнил в углу Егоровой: – Вот молодежь! А мы за час до спектакля тряслись у ширмы. Я тридцать лет в театре работаю, и чтоб я себе такое позволил... Да никогда...

Заслуженная всегда сама упаковывала, заворачивала в тряпицу свою куклу. Руки ее дрожали сейчас.

– Анна, – шепотом позвала Тюлькина. – Глянь сюда.

Анна посмотрела в дырочку в ширме. В последнем ряду сидел Виктор в свежей желтой рубашке.

Олег тоже смотрел на него. Задернув ткань задника, он стремительно пошел к ней. Она побледнела, ей показалось, что он сейчас ударит ее. «За что?» – с ужасом думала она, глядя на его ожесточившееся лицо. Спокойно и медленно Олег попросил у нее денег.

– Откуда ты его знаешь? – так же шепотом спросила Тюлькина.

– Я его не знаю.

– Пой, пташка... Не стыдись. А голенькие из лесу выходили.

– Ты бы лучше лапу зайца подшила. Тебе, кажется, платят за ремонт!

– Тихоня! Все вы тихие такие. Смотри-ка, в лагерь приперся. Познакомь?

– Ладно, познакомлю, – равнодушно пообещала она и отошла.

Пока складывали ширму, собирали кукол и декорацию, Виктор стоял вдалеке, у двери, молча наблюдал за всеми. Анна часто ловила его взгляд, но не отвечала.

– Я на газике, – добродушно сказал Виктор, подходя к ней. – Свободен. Сопровождать тебя буду...

– Да, – обрадовалась Тюлькина, вертевшаяся подле. – Я не люблю автобусов. А сегодня прямо тошнит. Может, вы и меня сопроводите...

– Ну, садитесь, – улыбнулся Виктор, – места всем хватит.

Олег подошел к ним, пошарил по карманам, спросил:

– У тебя закурить есть?

– «Прибой».

– Давай «Прибой».

Олег долго мял папиросу в руках, молча прикуривал.

– А ты? – через голову Олега тихо спросил Виктор Анну. – Поехали с нами?

Олег резко выпрямился, долго смотрел парню в лицо.

- Ну и дрянь же... ты куришь, мальчик, – отчетливо сказал он.
- Я привык, – отмахнулся Виктор и тихо повторил: – Аня, поехали...

Выехали из лагеря в полдень. В автобусе духота. Сомлевшая Заслуженная тяжело отвалилась на спинку, закрыла глаза, словно задремала. Олег следил через боковое зеркальце шофера за газиком, пылившим сзади. Анна молча смотрела в окно на сквозной белый березняк вдоль дороги, на небо, которое совсем, казалось, отстранилось от земли. Воздушное, высокое, без облаков и птиц, зрелая, живая синь.

Анна закрыла глаза и грустно подумала о том, что устала. Бросить бы все к чертям, выбраться из этого пекла, склочного бестолкового напряжения и просто налегаться на земле, насмотреться в небо.

– Благодать без Тюлькиной, – вздохнув, заметила Егорова.

– Тишина.

– Кадрит наша Тюлькина, – весело ответил Валерка.

– Муж ей покадрит, – ковыряя спичкой в зубах, забасил Гомолко. – Я вот приеду, с ним посоветуюсь.

– Вот философия у мужиков. – Антонина быстро повернулась к нему: – «Тебе удалось?» – «Нет». – «И мне не удалось». – «Значит, сучка».

Она засмеялась в лицо Гомолке быстрым ядовитым смешком.

– Не везет тебе, Гомолко, с бабами. Бодливой корове Бог рог не дал... Ой, как есть охота. Носимся целые дни по лесу, как псы...

– Все хотят.

– Вам бы, Антонина Федоровна, следовало с собой завтрак брать, – осторожно посоветовал Венька.

– А вам бы, – спокойно отчеканила Антонина, – Вениамин Борисович, следовало головой думать, особенно когда вы расписание составляете. Это, извините меня, мяжиной думалось. По три спектакля в день. И вообще, почему, если у вас дыры в голове, я должна страдать?

– Вы же знаете, что плана нет у нас. – Венька заерзал на сиденье.

– Нет плана у вас, уважаемый. Вы его хоть из пальца высасывайте. А мне нужны нормальные условия для работы. Вы за это деньги получаете?

– Ну хватит, с утра одно и то же, – поморщился Валерка.

– Гриб! – приоткрыв глаза, воскликнула Заслуженная. Веня, гриб у самой дороги. Подберезовик.

– Почему? Там и осина рядом.

– Нет, это подберезовик. Беляшок. Ох, какой крепенький...

– Балаган, а не театр. – Антонину уже трудно было остановить.

Анна посмотрела на нее и вспомнила, кого напоминает Антонина, когда бывает озлоблена. Свою собачку Белку – японскую крохотулю с круглыми блестящими глазами.

– ...Каждый себе хозяин. Что хоч, то и молочу.

– Я бы попросил вас помолчать, – глядя в боковое зеркальце, лениво выговорил Олег. – Вы мешаете коллективу отдыхать.

– А вы мешаете ему работать!

– Молчать! – взорвался Олег. Анна, вздрогнув, отшатнулась от него.

Антонина обрадованно и коротко хохотнула. Потом с торжеством ткнула в него остро отточенным, блестящим ногтем.

– Видали Держиморду!

– С тобой взбесишься, – осторожно поддакнула Олегу Егорова.

– Это называется – распоясаться. Олег Иванович у нас имеет к этому склонность.

– Молчать! – сорвался до визга Олег.

– Слышали! Толя, останови автобус... Я выйду... – Антонина подошла к шоферу. Автобус ширкнул, останавливаясь.

Антонина, высоко подняв голову, медленно проплыла мимо сидений, щелкнув замком сумки на плече, вышла.

К открытой дверце подлетел Виктор.

– А ты? – позвал он Анну.

Олег клешней вцепился ей в запястье руки.

– Сиди, – процедил сквозь зубы.

– Ой, гр-и-б! – протяжно заворковала за окном Антонина. – Какой гриб! – Антонина тонко выгнулась в спине и с легкостью девочки прыгнула через рытвину к траве, присела, изящно склонив головку.

Заслуженная, приоткрыв один глаз, следила за ней сквозь стекло.

Черная россыпь волос закрыла лицо Антонины, пока она срезала перочинным ножичком подберезовик. Сияющая, принесла к автобусу высокий на крепкой серой ножке гриб.

– Чихала я на тебя, слизнячок! – с небрежной простотой, сунув голову в дверцу автобуса, сказала она Олегу и, заметив его побелевшую клешню у жены на запястье, добавила: – Бабу за руку не удержишь...

Анна с силой отцепила свою руку.

– Ку-да! – угрожающе тихо протянул он.

– Да пусти ты. – Она встала и пошла к дверце.

В машине Виктор вопросительно поглядел на ее запястье. Она не ответила. Он поправил волосы на ее щеке...

Иногда по дороге открывались сияющие ромашковые поляны, чисто пятнившие подрагивающий от жары воздух. Лесочки в этих местах проплывали все больше березовые и осиновые, просторно живущие, молодо шумели на ветру.

Воздух в машине Виктора казался свежее, по крайней мере не отдавал бензином.

В лагере их не ждали. Старшая пионервожатая перепутала день их приезда. Она ойкнула, увидев автобус, всплеснула руками – и забегали все, засуетились. Привычно замелькал по лагерю Венька с портфелем в руках. Долго искали ключ от клуба, оказалось, что он у уборщицы, а та отпросилась сегодня домой.

– В окно полезем, – мрачно пошутил Олег.

Анна держалась от него стороной и наблюдала за ним с досадой. Она и понимала, что нельзя его сейчас зудить, и хотела признать за собой вину, но всякий раз сопротивлялась этой мысли.

«Ну что я такого сделала? – с обидой думала она. – Чем я так виновата?»

Виктор, стоявший у своего газика, исподлобья глядел на всех и молчал. Иногда она ловила настойчивый его взгляд, но отворачивалась.

– Может, пойдем погуляем? – подойдя к ней, спросил он.

– Ну куда мы пойдем? – срываясь на грубость, сказала она. – Мне работать надо!

– О! Эта бодяга надолго. Два часа еще будут ключ искать. Пойдем, я тебе цветов нарву. – Он осторожно взял ее за руку.

– Витя, на нас смотрят...

– Пусть смотрят.

Анна вздохнула и услышала, как заругался в стороне Олег, нарочно выговаривая пионервожатой. Молодая, почти девочка, пионервожатая так испугалась, что, не отвечая ему, широко раскрыла среди желтых конопатинок лица круглые детские глаза и жестом руки как бы отодвигала детей, толпившихся вокруг.

Анна, посмотрев на лицо мужа, вспомнила, как она сама напугалась сегодня, что он ударит ее.

– Пойдем, – сказала она Виктору, – хоть цветов нарвем.

Она слышала, как присвистнул им в спину Гомолко, говоря что-то Егоровой, и ее озабоченный, каркающий ответ.

За лагерем начинался ромашковый луг, река огибала этот лагерь с другой стороны, и ветер иногда приносил сырую свежесть от воды.

– Я не пойду больше туда, – сказал Виктор, глядя поверх ее головы. – Не нравятся мне твои артисты, нервные все какие-то...

То ли от травы, то ли оттого, что рядом шумит, разгоняя воздух, осинник, ветер скользнет горячо по коже и катит дальше к лесу неуловимой травяной волной в пахучий, терпкий, живучий простор.

Как давно этого не было, будто жила под каким-то куполом, затхло и отгороженно, и чем занималась, зачем жила в таком заспанном, стылом состоянии...

Виктор сел на траву, уперся крепким подбородком в колени, задумавшись, смотрел на нее прозрачными, с рыжим крапом глазами.

«Молодой он, – подумала она. – Какой молодой...»

Сняла босоножки, обошла его вокруг, всей кожей слушая упругую траву, легко, со сладкой силой потянулась, подняла плечи, изгибая над головой руку, рожденным внове, счастливым и точным движением...

* * *

– ...Движение, – бормотала Заслуженная, с досадой глядя в окно, – движение. – Обернувшись к Анне, словно грозила коричневым пальцем. – Душенька, ищите движение, ловите, ловите его. Помните! Они же не говорят, они движутся. У них свой язык. Богом каждому... каждому дан. Ежа работаешь, где у тебя еж? Вот смотри. Вот он. – Заслуженная опустила голову, выгнула горбиком шею, коротко и быстро заработала у лица руками. – Вот он. Ш-шу-шу, пошел. Нос-лапка, сзади, как у медведя... Во-во-во, шу-шу. Торопыга, дремучий, осторожный, хитренький. Шу-шу-шу. В лист, в лист мордашкой... Уф! Повтори. Возьми куклу.

Анна деревянными руками брала куклу...

– Срам, срам, – отдуваясь, говорила Заслуженная. – Какой день бьемся. Можно подумать, что ты, как у папы с мамой родилась в квартире с кафелем, так и прожила там жизнь. А живое ты только на картинках видала, а? Ты почему не смотришь кругом? Думаешь, в куклы играть просто?

Работали они уже вторую неделю, вдвоем, вечерами, в большой репетиционной комнате. На общих репетициях Анна терялась, слабела, повторяла неточно, словно деревенела вся. Режиссер молчал, иногда давал короткие советы. Успокаивал так: «Работай. Посмотрим».

Олег посидел несколько репетиций, поотирался вокруг актеров, послушал каждого. Постоял, подергал куклами у ширмы – в обед, в перерывах, и к сдаче спектакля уже работал, средненько, правда, корову в «Наследстве Бахрама». Анна не могла, она не чувствовала куклы. Ночью, боясь разбудить Олега, со слезами думала: что будет? Ведь ее выгонят. В этом она не сомневалась. Наконец Заслуженная, пристально и молча следившая за нею на репетициях, вздохнув, сказала:

– Останься-ка. Поглядим, может, что выйдет...

Заслуженная, обычно терпеливая на общих репетициях, с Анной была резка и запальчива.

– У тебя корова дома есть? Есть! Ага, слава богу, вспомнила. Мать ее выгоняет утром. Бери корову-то. Держи. Вот она стоит у калитки. Ну чего, она у тебя, как столб-то, стала! Пусть

хоть забор обнюхает. Ну махни-махни хозяйке-то хвостом. По-ш-ла! Слабо! Слабо! Будто ты не помнишь! Быстро вы как все забываете. Да это в крови твоей, живое в живом...

Иногда оставалась с ними Антонина. Садилась в углу на стул, в тень, молчала, внимательно слушая. Тогда она была в самой своей удачной поре. Моложавая, с крепкой круглой головкой, хорошенькая, ходила в короткой легкой разлеталке, складчато бродившей над смуглыми крепкими ногами. В то лето она завела роман с местным писателем. Говорили, что это серьезно, говорили, что он бросает семью. Антонина на эти разговоры гордо встряхивала коротким, жестким чубчиком и светилась. Весной она сработала фрейлину в «Голом короле». Сделала ее счастливо, светло, талантливо, на одной вдохновенной ноте. Фрейлина, красавица, капризная, избалованная, умница, гибкая, очаровательная, по-кошачьи цепкая, жесткая, не ходила – ритмично плавала над ширмой. Антонина работала ее весь летний сезон честно, без обычного нытья и ворчания, и работала живо, без штампов, по два, а то и по три спектакля в день.

Но вечерами она приходила к ним, следила за Заслуженной, молчала и чутко слушала. Заслуженная как бы не видела ее. Затаенное было в их отношениях, без внешних признаков раздражения, словно и не касались они друг друга.

Наконец у Анны получился ежик. Пополз, цепко перебирая ножками, зашуршал листвою, сморщив подвижную юркую мордочку, заговорил скрипуче...

– Ну вот, – обрадованно вздохнула Заслуженная, – теперь я вижу, ты будешь работать. Поняла, да? Поняла, как это делается? – спрашивала она счастливую Анну, и той казалось, что она действительно поняла, как это сделала, это движение, и этим живет еще тело, но объяснить, что и как, толково, словами она не смогла бы...

В этот вечер Заслуженная повела ее к себе в гости. Пили чай с вишневым вареньем в просторной неухоженной квартире. Анна смотрела на стены, увешанные фотографиями, афишами, на молодую, удивленную, смеющуюся Заслуженную на портрете и думала, как все это странно и не похоже на нее.

– Бог напутал со мною, – сказала Заслуженная, прихлебывая чай, – всю свою жизнь я хотела одного – танцевать. Я в молодости здоровая была. Интересная. – Она подумала и досадливо закончила: – Да чем там – интересная. Телка была обыкновенная. Здоровая. Если бы попала в такие условия, чтоб как-то заниматься можно было. Тогда еще, может... А то кобыла – кровь с молоком, неловкая только. Уж потом стала разбираться-то, музыку слушать. А движение – я его везде носом чуяла, не только глазами. Помню, детдом наш за Байкал эвакуировали. Тогда это совсем глушь была. И повадилась рысь в село. Ну, мужики ее и выследили. Господи, я как увидела! Как она летела! Я обмерла... До сих пор помню... Присела, знаешь, спружинилась вся. Потом как выстрелила – и полет. Лапы могучие! Дикая! Прекрасная такая хищница! Как она летела! И так мяконько лапами на землю. И опять пружинит. И опять полет... Так когда мужики ее грохнули, я так плакала, так редела. Думаю, господи, такую красоту изничтожить. А вот не дал Бог самой-то. Из детдома вышла – война – мне пятнадцать лет. Как-то вот подвернулся мне кукольный. Пошла уборщицей, временно. В войну работать некому было. Знаешь, как ездили-то! Помаленьку... то одного подменишь, то другую. Втянулась. Поняла, полюбила. Учиться-то негде было. Когда кукольное отделение открыли, так мне уже за сорок хлопнуло. Меня уже и Заслуженной кликали. От старого директора пошло прозвище. А потом и звание дали. Первое и пока единственное в этом театре...

После чая Заслуженная отдыхала, отдуваясь, на диване, следила за Анной печальными глазами.

– Это мой муж, – говорила она, указывая пальцем на фотографии. – Петр Васильевич.

– Он...

– Жив, жив! Где-то в Средней Азии греется... Тоже кукольник. И неплохой, знаешь, был кукловод...

– А сейчас...

– Сейчас не знаю. Это дочь Саша. Замужем в Норильске. Это внучата от нее. Это сынок мой Павел. Дорогу строит за Читой. Инженер военный... А это Максим... Максим Иннокентьевич... Убили его в сорок пятом. В апреле...

Анна смотрела на увеличенный портрет, на молодого веселого парня в солдатском. Кажется, она где-то видела его живого, – таким близким, русским, открытым было круглое, чуть с веснушками лицо.

– Кукловод он был замечательный, – задумчиво сказала Заслуженная и без перехода добавила: – А уж любила-то я его! Всей душой. Ему девятнадцать, а мне семнадцать. Это он мой первый учитель был. Вот так же вечером и натаскивал меня – в куклы играть. – Она улыбнулась...

Анна четко и свежо представила себе весь их роман, словно это была не Заслуженной, а ее первая влюбленность. Репетиции в холодных комнатах. Его любовь и запальчивость, свидания на лавочках у церкви в синих сибирских сумерках. Цепкие руки его и ее, одинаково худые. Запах сырого дерева и морозца, и мазута. Тот же тихий, полный молодого значения разговор. И пока Заслуженная рассказывала, Анна все это видела и думала, что все в жизни одинаково и все повторяется. Поэтому все так знакомо.

– Ну вот, осенью его забрали. Смеялся, говорил, войну закончу пойду. Без меня она не кончится. А в апреле убили. Семнадцатого апреля... А я не верила. Все ждала. И замуж вышла, и детей нарожала. А все ждала. Как-нибудь одна прилягу, глаза закрою и думаю. Вот бы явился – бросила бы все или нет? И такой червь сосет – бросила бы...

Об Антонине отозвалась сухо и сдержанно:

– Талантливая девка. Чего там. Умница. Бес в ней. Это от природы дается. – Замолчала печально, потом, видимо, перебарывая себя, добавила: – Сейчас молодняк пошел сытый, грамотный. Они уже теперь не слушают. Я вот Егоровой хотела подсказать с ежом. Так она мне в ухо при всех: «Спасибо, Софья Андреевна, но меня четыре года государство учило работать».

Ну учило, так учило, что я ей еще скажу. Отошла, побитая. Думаю, так тебе и надо, старая дура. Не лезь, чтоб тебя по мордам не били. Или вот муж твой Олег. Гладко чешет. А ведь не присмотрится – как, что. Деланно все это, деланно! Антонина, думаешь, зря она за нами смотрит. А? Все на ус мотает. Молодец! Я так думаю, по ремеслу-то она мне одна и родственная в театре. Хоть мы и враждуем... Кто его знает, как оно нас избирает, каким путем... Ремесло-то...

Уходила Анна поздно ночью. Прошел летний, весенний, незлобивый дождь, и омыто блестящий асфальт на дороге, усилились запахи крапивы в палисадниках, и особенно, едким и сладким, пахла акация. Анна шла, прислушиваясь к гулким в тишине своим шагам, и с затаенным робким и радостным чувством думала, что вот поняла она, открыла для себя маленький секрет этого ремесла. Она мысленно повторяла движения ежика и думала, что сколько еще сможет, сколько еще сделает! И какое диво этот театр, и жизнь в нем, и Заслуженная. И какое все это счастье... И лишь бы не было войны, болезни, чьей-либо смерти, чтобы ничто не помешало ей работать, познать хотя бы долю того, что носит в себе Заслуженная...

* * *

Виктор неотрывно глядел на небо. Лицо его, и без того некрутое, нежесткое, совсем обмякло; по-мальчишески, светло зацвели у носа мелкие конопатинки, ветер пушил его волосы. Анна села рядом, и смешно ей было, и сердилась, и нехорошее думалось об Олеге, и как-то отступало все, отодвигалось рядом с этим мальчиком, становилось простым, понятным. Лежит человек на траве, смотрит в небо. Утром купались вместе. Ну а почему нет?! Почему обязательно знать друг друга? И пока она так оправдывала себя перед Олегом и другими, ей

казалось, что она права и незаслуженно обижена. И все-таки было не по себе, зря она пошла с ним сейчас...

– Сегодня свечку поставлю, – не открывая глаз от неба, сказал он. – У нас церквушка действующая, между прочим. Туристы ездят смотреть. Говорят, декабристы строили. Вот приеду – поставлю. Там поп, знаешь, молодой. Чахоточный такой. Думаешь, вот сейчас на ходу помрет, а пятеро детей уже...

– А тебе завидно?

– С чего это. У меня самого с десяток будет.

– Трепач ты, Витька.

– Ни капельки. Я детей люблю. Я в отца пошел. У меня батя был что надо. Наклепал нас – восемь штук только выжило. Умер только рано... Вот как подумаешь – да?! Жизнь. Вот знал бы я вчера, что сегодня так повернется. Что буду лежать, и ты рядом. Я тебя как будто сто лет знаю. Вот точно что-то есть.

Анна засмеялась, ей был приятен этот легкий, вроде бы без смысла разговор, и она подумала, что с Олегом у них не было такого.

– Времечко... горит, – вздохнул он, посмотрел на часы. – Мать мне посчитает волосенки.

– Ты почему, правда, не на работе?

Он усмехнулся, сел, вдохнул и выдохнул воздух.

– Потому что с тобой сижу. Рядом... заводошко тут строят. Песок возят. А я начальство вожу. Поскольку, сама понимаешь, с утра меня не было, я с тобой знакомился, мой начальник на грузовой подался. Но к обеду надо объявиться. – Он вскочил, легко подпрыгнул, потом, легко нагибаясь за каждой, сорвал несколько ромашек, протянул ей: – На...

– Спасибо. – Она улыбнулась и взяла цветы.

– У вас третий спектакль в «Восходе»?

– Да.

– Я приеду туда.

Анна промолчала, а он, смутившись чего-то, неожиданно и ревниво погрозил ей пальцем:

– Только ты смотри мне, смотри...

Она рассмеялась и спросила, как спрашивают у детей:

– Чего смотри-то?

– Ну, пойдем, – не ответив, смутился он.

Анна представила себе ясно, как они вдвоем войдут в лагерь, и решительно отказалась.

– Нет, ты беги, а я сейчас...

Он быстро согласился, истолковав ее решение по-своему, и пока шел по тропе к осиннику, все оглядывался, у леска постоял немного, поглядел на нее, потом прощально поднял руку и скрылся. А она смотрела, как он уходит, упруго, напряженно, потому что чувствует ее взгляд в спину, и благодарно подумала о нем.

Она вздрогнула, увидев резко идущего с другой стороны из леска Олега. И пока он шел к ней, она, не отрываясь, испуганно глядела в белое, вытянувшееся его лицо, но все же успела зацепиться за мысль, что выжидал неподалеку, пока Виктор скроется, а потом сразу вышел.

– Ну что, девонька, хорошо тебе?

Анна не ответила, опустив глаза, заметила, как напряженно бугрится карман его джинсовой курточки со сжатым кулаком, и тогда она спокойно, с ровным отчуждением посмотрела ему в лицо.

Олег ударил ее размашисто и верно, так что, искрясь, вывездило в глазах.

Она прикрылась от него рукой и с жалкой досадой попросила:

– Не надо... Не бей больше...

Олег мрачно сплюнул и быстро пошел по тропинке к осиннику.

– Схлопотала, – равнодушно глядя ему вслед, усмехнулась о себе Анна и села в траву...

Свистнул недалеко коростель, ветер качнул где-то подле леса воздух, и он покатился слабой, мерной волной. Чуть качнулись и выпрямились ромашки... Анна сорвала плоский, подсыхающий лист подорожника, положила на зуб, разжевала, высасывая из растения пресноватую терпку влагу.

«Если бы мы и целовались с Витькой, ты бы все равно выждал в кустах, – подумала она о муже... – Все равно бы не вышел...»

В воротах лагеря на нее ошалело налетел Венька.

– Где твой муж? – выдохнул он ей в лицо.

– Обьелся груш, – равнодушно ответила Анна, проходя мимо.

– Я вас, Анна Викторовна, серьезно спрашиваю. – Венька зажал портфель ногами и протирал дрожащими пальцами очки...

Клуб лагеря был уже полон. Старшая пионервожатая бегала из дверей в двери. Ребятишки взбудораженно и шумно галдели. Пунцовый Венька, успевший еще раз обежать вокруг лагеря, нервно винтился вокруг актеров.

– Я так и знал, – шипел он. – В середине сезона. Такое напряженное время!

– Может, без него выкрутимся? – осторожно спросил Валерка.

– Я халтуру гнать не буду! Все, – отрубил Заслуженная. – Скоро уже нас в лагеря пускать не будут. Деньги- то дерем с них, слава богу... – Она поморщилась и отошла в угол.

– Ну, давайте что-нибудь решать...

– Она-то тут при чем? – заступилась Тюлькина. – Она же на месте...

– В конце концов, он помреж...

– Анна, – грохнула из угла Заслуженная, – вот объясни мне, как это можно... Как вы так умеете. – Она подошла близко к ней, и Анна увидела искаженное, искренне недоумевающее, темное ее лицо.

– Бабы, – бросил свой камень Гомолко, – хвостом воду замутят – и в кусты. Мы, мол, тут ни при чем... Отдуйте, мужички, нервничайте, топите.

– Ну, если наш помреж утопится, – сказала Антонина, разглядывая темно-коричневые ногти на растопыренных тонких руках, – театр много не потеряет...

Венька плакал в углу ширмы, он стоял спиной ко всем, съезжившись, как серый, весенний воробушек...

Антонина посмотрела ему в спину, потом вынула зеркальце и, мелкими щипками укладывая челку на лбу, громко сказала:

– А я ее понимаю. Я всегда приветствовала в женщинах порыв. Когда на все наплевать. Все к чертям летит. Ах, как мало женщин на это способно. – Она вздохнула и, все еще глядя на Венькины подростковые лопатки, словно ему выговаривая, добавила: – И если еще учесть, что такой муж, как наш Олег Иванович... Вы, конечно, меня простите, но я бы со столбом схлестнулась. Удивляюсь многотерпению русских женщин...

Заслуженная, напряженно выслушавшая ее, как-то вдруг сразу опустилась, остыла и оскорбленно отошла укладывать в тряпицу свою куклу.

В полном молчании собрали декорацию. Приходила начальница, полная, решительная, возмущалась и грозилась жаловаться. Гомолко ей отвечал, что непременно отыграют. В ближайшие дни. Может, завтра. Может, сегодня вечером. Просто в город не поедут, заночуют в каком-либо лагере, но отыграют...

Венька, потерявший присутствие духа, молчал, прижавшись носом к портфелю, сидел на ящике и хлопал детскими обиженными глазами. Обедать, конечно, не пригласили. Быстро-быстро погрузились и выехали из лагеря. Ребятишки, столпившись у ворот, разочарованно галдели и долго смотрели им вслед.

– Фу, какой кошмар, – выдохнула Заслуженная, как только въехали по дороге в лес, – ой, стыдище.

– Ну, куда? – крикнул шофер, приостанавливая автобус.

– В деревне он, водку пьет, – мрачно подсказал Валерка.

– У меня нет желания гоняться за всеми алкоголиками, – решила за всех Антонина. – Едем в деревню обедать. А там что Бог пошлет. На сытый желудок голова яснее...

Автобус долго тарахтел, потом наконец тронулся.

– Пошла лошадка, – ухнул Валерка.

– Жарища-а! – пожаловалась Тюлькина.

– Вот точно, как псы бродячие, – каркнула над ухом Егорова. – Еще театр называется... – и посмотрела на Валерку.

Такое знакомое, щемящее пронеслось в хриплом сквозняке ее голоса, давнее и больное. Анна обернулась на нее так быстро, что Егорова от неожиданности спросила:

– Что?

– Ничего, – пожала плечами Анна и, обернувшись еще раз, всмотрелась в узкие жесткие глаза соседки, она вспомнила... Фелумена! И голос, прокуренный и хриплый, без интонаций, и то же безразличие в лице, тот же небрежный жест, когда прикуривает сигарету, и густой клубами выдох из яркого покрашенного рта. Только Фелумена полнее и старше.

И из другого времени...

* * *

...Как странно, что тогда они встретились, так инородно врезалась Фелумена в ту кашу, в которой варился Олег. Она приходила ярко покрашенная, полная, в жарких от цвета, тугих трескучих платьях, курила, округляя рот, выдыхала дым, и когда говорила, приходилось обращаться на ее хриплый голос, он был так же резок и неожидан, как и смысл ею сказанного. Ее привел кто-то из приятелей Олега, завязанных театралов. Был один из тихих, печальных вечеров после того, как Анна сделала аборт. Этому предшествовали бурные объяснения, уговоры, заявления. Наконец он сказал: «Ты забываешь, что такие вещи одной душой не решаются. В конце концов, нас двое, и мы сошлись на всю жизнь. Почему же ты сейчас, когда я не готов, взваливаешь на меня такую ответственность? Ты просто не веришь в меня. Ты думаешь, я кончился, да? Ты думаешь, что этот балаган с кукольным, это на всю жизнь?!»

Гости пришли, когда Олег был особенно грустен, внимателен и предупредителен. Он не позволил Анне встать с дивана, сам сел на пол рядом, поставил у ног две высокие тонкие рюмки, молча слушал друга, иногда из-под прикрытых ресниц тяжело взглядывал на Фелумену, курившую посреди комнаты, так решительно нарушившую приглушенный сумрак их вечера. К концу вечера приятель Олега напился и, тыкая пальцем на Фелумену, хихикал:

– Видал? А? Ну как?..

– Ничего, ничего, – укладывая его в углу на матрас, деловито бормотал Олег. Он провожал Фелумену за двери, задержался на лестничной площадке. Вернулся задумчивый, замкнутый и долго смотрел в открытое окно на улицу. Потом грустно сказал: – Странно мы устроены. Я вот от природы, в общем-то, холодный. – Потом помолчал и признался до конца: – А вот меня всегда непреодолимо тянуло к таким бабам. – Он кивнул на окно и вздохнул.

Фелумена появилась в их комнате еще. По-хозяйски возникла, окруженная шумом своего голоса, запахом тела и платья. Села на стул посреди комнаты, углов она не признавала, оголив оплывающие жирком колени, курила, говорила громко, хрипло, и только Олегу. Анну она не замечала. Олег ходил вокруг нее, словно приносиваясь, с изумлением оглядывая открытые, в мелких нависших складочках плечи.

– Ну до чего сволочная! – сказал он, возвратившись и на этот раз с лестничной площадки. – До восхищения сволочная! – Он походил немного по комнате, и когда Анна уже забыла про Фелумену, он вдруг, качая головой, напомнил: – Вульгарна до безобразия! Но что-то в ней есть, как в перезрелой груше. Ты знаешь, она напоминает мне Зойку.

И побледнел, отвернув тонкое мальчишеское лицо.

Анна молчала. Она ничего не находила в этой бабе, кроме нахрапистой наглости.

«Развратна, – думала она, – потому и тянет...»

После ухода Фелумены мыла полы, словно хотела уничтожить липкий, дразнящий, потливый запах этой женщины. Мыла еще и потому, что втайне верила деревенской примете замыывать след. Фелумена исчезла на время. Но Анна однажды увидела их из автобуса. Они шли по центральной улице города. Олег обнимал Фелумену за плечи. Он казался мальчиком рядом с этой здоровой, ярко-белой и далеко немолоденькой женщиной...

Тогда она закрыла глаза и горько подумала: «Добрался... отвел душу».

Она делала вид, что ничего не замечает. Анна боялась объяснений, память о первой их размолвке преследовала ее.

«Наверное, все пройдет, – успокаивала она себя, поджидая Олега у окна, – не может быть иначе... Она ведь старая...»

Олег молчал тоже, жил в себе, замкнуто, обособленно, почти не разговаривал с нею, и она боялась начинать разговор сама...

Однажды он не ночевал дома, вернувшись утром, присел к ней на кровать, сказал, отводя от нее беспокойные быстрые глаза:

– Не спрашиваешь! Ну и правильно. Я сам не знаю, что со мной. Это какой-то ужас. Пропать. Я, наверное, уйду к ней... А?!

Потом он написал ей письмо, в котором просил остаться жить в этой комнате, и прощения просил. Он писал, что не знает, что с ним. Но он должен, должен вернуться. Пусть только ждет его. Христа ради ждет... Анна собрала вещички, прибрала аккуратненько комнату, закрыла ее и отдала ключ соседям.

С первым же поездом она уехала к матери. На этот раз ей было не стыдно возвращаться домой. Напротив, в том темном состоянии души, нарывающем все более в одиночестве, ей нужно было знать, что есть на земле отчий дом, мама, братья, деревня...

Мать не удивилась ее приезду. Недавно она проводила последнего, пятого, сына в армию, и вместе с заботами вышел из нее, казалось, сам жизненный дух, который питал ее тело.

Мать встретила Анну в ограде, даже ведро не поставила наземь, прикрыла ладонью лоб, обыденно сказала:

– Приехала? Совсем? – и, кивнув на чемоданишко, вздохнула: – Не много нажила...

Высокая, бескровно обмякшая, мать поразила Анну, до того она обесплотилась. Тень тенью. Зато отец оставался таким же. Он постарел, кожа синюшно подсвечивала. Встретил он Анну сухим и скрипучим:

– Явилась. Нажила в городе-то. Считаю, первая воротилась. Отца позорить...

Вечером Анна вынула из чемодана кофточку для матери и тихо попросила:

– Мам, померь...

Мать, увидев эту простую, голубоватую, широко пошитую кофточку, порозовела, помолодому смутилась. Взяла кофточку, подняв еще красивые темные волосы, примерила ее. И такой глубокой, затаенной печалью вдруг зацвели ее глаза посреди темного, грубо выделанного лица, так нежно и стремительно ожили, что отец, сидевший на лавке в углу, вдруг, бросив недошитый валенок на пол, резко прикрикнул:

– Но, но... – выругался и вышел из комнаты.

Казалось, ничего не изменилось в доме, только все рушилось, все оказалось куда более ветхим и иссохшим, чем ей представлялось в воспоминаниях. Опустился потолок, неприятно

оголились стены, гнили углы, просачиваясь в дождливые дни, словно ватные. Отец не подновлял дом, не покупал городской полированной мебели, как большинство в деревне, не влился в этот дом приток свежей, молодой жизни, не слышно было дыхания новых поколений, но это был ее дом, дом ее детства, и свет сквозь ситцевые шторы, сквозь герань на подоконнике сочился на желтый пол. Казалось, все те же банки-склянки из-под молока, кваса, настоев трав и прочих домашних снадобий тянулись вдоль лавки в сенцах, и та же черемуха в палисаднике на угол от окна с сырым, горьковатым запахом, – все осталось родным и дивным на этом маленьком, обветшалом без хозяйских рук клочке земли, таким простым, верным, принявшим ее всю, как есть, какой вернулась. И, казалось, ослабела, затихнув боль. С какой благодарностью думала она о матери в этот единственный приезд, думала о том, что должно быть у человека место, где его, пусть не всегда, поймут, но всегда примут...

После ужина Анна вышла на крыльцо, где сидела и смотрела в дрожащую огнями глубь деревни мать. В верховьях леса, на горе, куда они ходили когда-то, было темно, и только иногда блуждающе мерцали круглые, смутные огни. «Дорогу проложили», – догадалась Анна. Села на крыльцо, и захотелось рассказать все матери. Рассказать просто, как женщина женщине, как дочь взрослая – матери. Она набралась духу и напряженно, срываясь в голосе, стала говорить. Сначала было тяжело, потом легче, потом она услышала слабый свист, посмотрела на мать – та дремала, прислонясь к косяку, и голова ее мелко, как у старухи, дрожала.

Все. Изжилась мать, изработалась, измоталась, выдохлась. Она прожила всю себя, до кровиночки, волоча на своем горбу деревенское хозяйство, пятерых детей, мужа. От природы мать была очень скрытным человеком, жила только в себе, никогда не судачила с соседками, не хвалилась, не жаловалась, и это тоже подтачивало душу. Она вырастила, выходила, поставила на ноги всех своих пятерых, а на их жизнь, на их взрослые боли у нее уже не было сил. И тогда, глядя при слабых сумерках на посеревшее, остановившееся лицо матери, на тлеющие чем-то темным провалившиеся круги под глазами, первый раз в жизни услышала, как исходит от человека трезвящий мертвенный холодок...

Анна осторожно пригладила прядь волос к материнскому уху, подумала, что мать бы и не поняла ее. Может, эта вечерняя ее дрема нарочита, просто чтоб не слышать Анны.

Мать тоже сходилась с отцом для счастья, но раз и навсегда. Ее счастье и жизнь были в том, чтобы народить и вырастить их, пятерых, с одним мужиком, каким есть, судьбою данным. А другого счастья, других путей жизни она не знала и не искала.

Анна впряглась в хозяйство. Работы в деревне было всегда вдоволь, и за годы ее отсутствия не убавилось. Огород, картошка, корова. И было хорошо, что с рассвета поить, кормить, доить, копать, чистить, мыть. Одной картошки вдвоем с матерью накопили сорок мешков. Присев на ведро, пока мать уходила в стайку к корове, Анна глядела на душно преющее под сентябрьским солнцем поле за плетнем огорода, на желтый, чистый лесок вдаль и думала, что проживет здесь жизнь. Мать прожила, и она проживет.

В эту осень часто ходили собирать бруснику. Брали по ведру, по два в день. Брусника уродилась крупная, рясная, зрелая до черноты. Анна возвращалась усталая, упоенная осенним лесом, бордовые от ягоды руки пахли мхом, сиропной сладостью преющей хвои. У неглубоких сквозных родников отдыхали. Анна, нагибаясь, смахивала легкий, с прозеленью в воде березовый лист и пригоршнями пила чистую воду.

И пока мать умывалась, отряхивалась, отдыхала, Анна все смотрела вокруг на желто-багровые, не редеющие сопки, на красный голубичник. И как жадно воспринимали, отмечали все глаза, как чутко улавливало ухо малейший треск ветки, крик кедровки, свист бурундука. И не наглядеться было, не наслушаться, как будто возвращалось забытое ощущение родины. В эту осень словно внове она обрела родимые места. Вечерами ходила гулять за околицу, глядела, как садится солнце за золотые верхушки сопки, как сквозит и льется зыбкий вечерний свет

с сумеречного, еще незвездного неба. Каким легким мерцающим свечением дрожат осинки вдалеке. И живой, влажной, густеющей синевой спокойное лежит озеро.

Мать мучилась женскими болезнями. В начале сентября ходили в дальнюю падь на Старухину гору собирать боровую матку, кустистую траву с копеечно-мелкой, словно срезанной по краям листовой. Мать обходила чуть наискосок гору, спускалась в низину, а Анна забралась вверх: к высоким зарослям шиповника.

Спелые, багровые, как вишня, ягоды усыпали кусты, собирать их было легко, и Анна не заметила, как набрала ведро. Присела оглядеться и замерла. С высоты горы такой протяжной и прекрасной ложилась перед ней земля. Свежая желтизна листвы и солнца, ясная горячая голубизна неба. И широта и щедрость, пронзительная громада пространства. Сопки, сопки внизу, свет и сладость легчайшего прозрачного воздуха. И впервые за эти годы глубоким, блаженным и горестным ощущением счастья наполнилась душа. Родиться на этой земле, расти и видеть, каждый раз внове, весну ее, осень, лечиться ее травами и набираться ее духа... Можно ли было рваться отсюда и не любить ее? И не здесь ли ее высокая доля, которую она так бесплодно и мучительно искала в городе? Мать окликнула ее внизу, слабым, пропадающим эхом долетел звук. Анна набрала воздух и отозвалась:

– Я здесь, мама!

«Ма-ма-ама-ма...» – волной прокатилось вширь.

Анна часто заходила к Панке. Подружка все-таки прибрала к себе Юрку Тарасика. Они жили уже пятый год, и Панка ходила тяжелая третьим ребенком. Характером она осталась прежняя – смешливая, бойкая, языкастая толстушка. Беременность она переносила легко, будто и не чувствовала, упруго каталась по двору, управляясь с нешуточным деревенским хозяйством.

– Пришел он в мае, – рассказывала она. – Я ног не слышу от радости. Он в клуб, я в клуб, он на свадьбу, я на свадьбу. Он в тайгу, и я в тайгу. А он, что ты думаешь, выдумал. К Ленке Хитяевой. Ну помнишь, гулял-то с ней до армии. Выдумал тоже... Я чуть, ей-богу, не обиделась. А потом пораздумала-посидела. Думаю, всю жизнь ждала его, ни на кого не взглянула, меня ж двое сватали, а теперь обижаться одной. Кисни в девках. Нет, думаю, на сердитых воду возят. Отбила! Никуда не делся.

Панка присядет на скамеечку, расставит ноги под тугим округлым животом и тихим, ласковым голосом скажет:

– Знаешь, Ань, вот уже какой год живем. Провожу его утром, а к вечеру дожидаться не могу. Все глаза прогляжу. Так вот целый день в стайку да за ворота, отдою да за ворота, в огород да за ворота. Все выглядываю, не идет ли... А вечером ребятишек уложишь, ляжешь с ним, и ниче не надо. Чувствуешь, что вот он, тутока... Глаза закрою, думаю, и за что мне Бог дал. А? Почему я такая счастливая?..

Уютно, чисто, выбелено в Панкиной хатке, хорошо было и в огороде, и они кормили ребятишек, управлялись с хозяйством, скотиной, и как-то весело, дружно, упруго справлялись с этой жизнью, нимало не смущаясь ни деревенской глушью, ни работой, ни чем другим. Анна, наблюдавшая за Панкой, видела, как сквозит в лихости ее, вздорности, часто злом, но точном языке простая, житейская привязанность к мужу, постоянная забота о нем. Как они чувствовали друг друга, почти не разговаривая, как участливо и быстро откликались, с полуслова понимая друг друга, как охотно работали, как чисто, на удивление слаженно выводили за «стопариком» протяжные, печальные русские песни.

А кто были они с Олегом друг другу?

Кем были они и зачем они сходились... Обида и боль неизбывным жаром горели внутри. По ночам она просыпалась и плакала. Так кто же они были друг другу? Друзья? Любовники? Муж с женой? Да никто.

Чужие, случайные люди...

Встретились, изломали друг друга. Не поняв ничего, не полюбив, не уступая друг другу ни в чем. Каждый знал только свое и о себе. И куда они подевались, ее детские, забавные сейчас думы о чистой любви и высокой доле. Там, когда ночевали вдвоем с Панкой на сеновале, какой она святыней казалась – любовь, чем-то призрачным и воздушным. Такой и осталась. Не далась в сердце. Выходит, Панка любила, а она нет. Панка жила каждый день, просто жила своей судьбой, своей любовью полнилась, истинной и верной. Ребятишек рожала, хозяйство поднимала, работала. А что они с Олегом? Ни угла, ни детей, ни дела по себе.

Да, чужие, случайные, никудышные люди! Иначе почему они, мужчина и женщина, так счастливо сведенные судьбой, без помех, преград, сведенные только молодостью, а не горем, не нуждой, как бывает иногда, не могли дать друг другу счастья? Почему же тогда не связалось у них, не срослось, не стало жизнью, а так расплозлось трухляво, бесплодно, ничего не оставив душе, кроме тоскливой горечи...

Она травила себя этим, ясно и страшно открывшимся для нее смыслом.

«Чужой, – брезгливо повторила она себе. – Чужие, случайные люди... Ни себе... ни кому другому». Отсюда, из чистой глуши родного дома, из безгрешной его сердцевины иным представлялось все, в каком-то другом, спокойном и мудром свете и любовь, и работа, и люди...

И городское ее житье забывалось, будто и не было никогда. Вспоминались разьедающие взгляды соседей, брань из-за уборки коридора, темные углы общежитий, голуби в грязных лужах и сажа на снегу. А хорошего почти не вспоминалось. И когда она вдруг увидела Олега у колодца – он стоял и пил воду из ведра у соседской девочки, – то не удивилась и ничего не дрогнуло у нее в душе. Он вошел за ней в ограду, поставил портфель наземь, жалостливо сказал:

– Господи, похудела-то как...

– Да, – ответила она. – А ты плащ новый купил.

– Купил, – с досадой кивнул он. – Удача какая, иду и девочка с полными ведрами. Видишь, это не зря. Это нам судьба такая... – Потом он, не глядя на нее, глухо вздохнул. – Ты ведь поймешь меня, девочка... Ты не представляешь, что было! Это пропасть. Такая пропасть...

Анна повернулась и ушла в дом.

Олег привез подарок. Матери цветастую, с кистями шаль. Отцу электробритву. Ей он положил под подушку толстенький томик Ахматовой. Анна нашла его вечером и усмехнулась. Олег был весел, предупредителен, смешил отца присказками про актеров, про кукол, даже показывал руками, как их водить. Он был выбрит, подтянут, в свежей рубашке, в новой джинсовке, не умолкал и оглядывался на Анну, молчавшую в закутке у печи. Анна ушла спать в боковую комнату и плотно закрыла за собой дверь. Утром он вел себя так, как будто между ними все обговорено и они помирились. Он суетился в стайке с матерью, наводил пойло корове и всем восхищался. Матери он понравился. Анна видела это по улыбке, с которой она к нему обращалась. Уже почти к обеду они собрались с отцом охотиться, стрелять рябчиков. Вернулись поздно. Рябчиков не настреляли. Отец был злой, а Олег заливался смехом, рассказывая, как подбили ворону и как она прыгала, спасаясь от них. Вечером он хотел поговорить с Анной, но она молча отвернулась и ушла в свою боковушку. Так прошло несколько дней. Олег выжидал, на разговоры не напрашивался, пилил дрова с отцом, ездил за сеном, собирал с матерью клюкву на болоте, был неизменно весел, разговорчив с родителями и помогал им всячески по хозяйству. А Анна, наблюдая за ним, тоскливо думала о том, что ее ожидает в родительском доме, если она останется здесь. Работы почти никакой. Есть на время место Панки на ферме, пока та в декрете. А что потом? Друзей она растеряла, соседи будут коситься на нее. Марфуша – и та на все лады выпрашивала, надолго ли она вернулась. А приедут сестры. Брат выйдет из тайги в ноябре. Что она скажет им, писавшим ей письма с такой надеждой и уважением? Тоска, одиночество, отчуждение – вот что должна была пережить она зимой в родительском доме.

В конце сентября занепогодило. Дожди, ветра, заморозки по ночам. Деревня потемнела, осела как-то, скукожилась. Оголились, некрасиво поредев, сопки. С дождем валил снег, и дорога до того раскисла – пройти нельзя, сапоги до колен в глине. Наконец Олег подошел к ней и, ткнувшись в ее плечо носом, шепотом сказал:

– Неужели ты не видишь? Я страдаю. Я мучаюсь. Ну прости меня, слышишь. Прости. В тебе теперь жизнь моя. Один я не вернусь. Лучше уж... – Он отвернулся и махнул рукой. – Нет смысла жить. Я ведь столько без тебя. Какие же мы дураки с тобой? Как же можно было?..

Анна осторожно подняла руку и положила ему на голову. Она к тому времени и примирилась с ним, и простила его. Только где-то в глубинах сердца так и не затухал холодный огонек отчуждения. Отец, увидев, как они вернулись вместе из огорода, крикнул:

– Слава те господи, сошлись...

Вечером устроили застолье. Панка и Марфуша пели с матерью, Тарасик вдумчиво подтягивал им. Все было хорошо и ладно, и оттого, что наконец решилось, полегчало на душе у Анны. Она глядела на поющего, грустного и красивого сейчас Олега, и показалось, что внове любит его, даже сильнее, новым, мудрым, материнским чувством. Ночью он целовал ее под звездным небом во дворе, укрывая лапами своей курточки, и шептал на ухо счастливое и ласковое. Казалось, потух тот холодный огонек в сердце, все забылось, и свежие силы жизни и любви прибыли в душу...

На другой день они уехали в город. Олег повел дело решительно, оказался деловым и обстоятельным. Во-первых, они сразу зарегистрировались, и Анна наконец, после многих скандалов с управдомом, получила городскую прописку... Потом он все устроил в театре. Они ходили по магазинам, и Олег сам выбирал ткань на шторы, купили диван-кровать, стулья, посуду, торшер, голубой с розовым, поставили у кровати. Сам выбрал и принес длинный домашний халат, такой, какой хотелось ей, поставили свой столик на коммунальной кухне. Все: девицы, стихи, бородатые художники – отошло в небытие. Теперь он полюбил эту комнату с вечерним светом торшера над диваном, Анну в халате, кофе по утрам. В гости они не ходили, к ним тоже не ходил никто. Он лежал на диване, читал газеты, иногда вздыхал, что наконец-то все хорошо, и, не договаривая, глядел мимо...

Анна пошла к врачу. Пожилая, седоватая, с резкими ухватками гинеколог после осмотра прикурила папиросу и, прищурясь, сказала:

– Нет, я не надеюсь. Попробуйте полечиться несколько лет... На курорт съездить.

* * *

В деревню влетели на полном ходу. Разбежались, заклохтели по дороге куры. Лежалая, пухлая, хорошо промятая пыль, поднимаясь, плыла вровень со стеклами. За автобусом уже мчались, посверкивая пятками, ребятишки, досужие старики, дремавшие в тени на крепко сбитых низких лавочках, провожали автобус долгими взглядами из-под суховатых надо лбом ладоней. Деревня небольшая, бревенчатая, вытянутая по-сибирски в одну улицу вдоль реки. Переехали деревянный мостик.

– Ты смотри там, шпаненка не задави! – крикнул Валерка шоферу.

– Господи, хоть бы сыру кусочек... Завалященького.

– Веня, – обернулась к нему Заслуженная, – смотри, резьба какая, а. Ты ведь любишь, фотографируй...

Венька безучастно посмотрел в окно, подтянул к себе ближе портфель и не ответил.

– Интересно, а молока здесь можно купить?

– А почему бы и нет. Зайдем в какой-нибудь дом...

– Да поклонимся...

– А чего бы и не поклониться. Ради молока да хлебушка...

– Глянь, что, а ты посмотри что... Петушок-то наш, вон он, касатик. – Тюлькина ткнула пальцем в стекло. За автобусом, окруженный ребятишками, как гриб над травой, виднелся Олег. Джинсовой курточки на нем уже не было, рубаха кособоко разворотилась на груди, он что-то кричал им вслед и махал рукою.

– Что он там орет?

Тюлькина поднялась, приставила ухо к верхней открытой части окна, послушала:

– Артисты приехали... кричит.

– Ах ты господи. Вот страмина. Не уважаешь себя – твое личное дело. Но ведь это же театр, – заворчала Заслуженная. – Те-а-тр. – Она подняла вверх крупный палец. – У меня до сих пор иногда сердце екает, как подумает...

Венька, словно к опоре, прижимаясь к портфелю, не отрывая глаз от окна, тихо сказал:

– Пусть я серость. Я из себя никогда не гнул. Но я, как щенок, трясусь за каждый спектакль... Как щенок... – Он не выдержал и всхлипнул, потом протер очки, ткнул их в переносицу и, разглядывая Олега, добавил: – Меня вот завтра выгонят. А он останется. Он будет работать...

– Да чтоб мне провалиться, если тебя выгонят, – спокойно заклалась Заслуженная.

В тяжелом молчании остановились у магазина.

– Ну, где бить будем? – спокойно спросил шофер, остановив машину.

Олег подлетел к автобусу, снаружи кулаком открыл дверцу.

– Артисты приехали! – заорал он в автобус. Снял кепку, по-лакейски согнулся, злорадно искривив губы.

Валерка при выходе, стоя на ступеньке автобуса, звонко щелкнул тугим пальцем по его потной затылке на макушке.

– О, – быстро нашелся Олег, – шолбан! – Потом выпрямился и спросил: – Что это еще за выходка?

Антонина с высокомерной грацией, которая всегда отличала ее молодежливое легкое тело, ступила маленькой ножкой на землю и спокойно фыркнула в лицо Олегу: – Фи!

– Пожрать тут есть? – спросила Тюлькина, выглядывая из двери.

– Тише, тише, – остановила ее Заслуженная, – здесь же дети.

Венька, решительно поправив пальцем очки, прошел мимо Олега, не взглянув на него.

– Ну и сволочь же ты, – простодушно покачав головой, сказал Валерка.

– Артисты! – хрипло сказал, показав на них рукою, Олег.

Анна с первого на него взгляда поняла, что Олег не пьян. Он не мог так быстро напиться. В последние годы они почти не пили вино, и Анна знала брезгливое отношение мужа к выпивке, что больше исходило от слабого его здоровья. Похмелья Олега бывали тяжелыми и долгими. Он был трезвый, и это она увидела по нарочито неправильно застегнутой рубахе, по холодному наблюдательному взгляду. И от стыда за него и за себя усилилась у Анны неприязнь к мужу. И не то было особенно неприятно, что Олег вспомнил старые замашки, а то, что расчетливо все это делалось. Она прошла мимо него и оглянулась. Он ее как бы не замечал, но Анна почувствовала, как подрагивает кулак в кармане брюк. Выходившие из магазина женщины медленно подтягивались к автобусу. Одна из них, молодая, темноволосая, в цветастом ситцевом платье, спросила, поглаживая голову мальчишечки, похожего на нее:

– Может, вы нам что покажете? А то к нам никто не ездит!

– Они покажут, – мрачно ответил ей Олег. – Они покладистые.

– Ну я тогда сбегая и скажу, чтоб клуб открыли.

Антонина, с брезгливым недоумением выходя из магазина, держала в руках кусок сыра. Она отщипнула его тоненькими пальчиками и, немного пожевав, задумчиво сказала:

– По-моему, он прошлогоднего завоза.

– А чего там, – махнула рукой Заслуженная, – гвоздей только не ели. – И тяжело направилась к дверям магазина.

– Слушай, а у меня ни копейки, – подошла к Анне Тюлькина.

Анна суетливо пошарила в сумочке, отыскивая кошелек.

– Смотри, – каркнула над ухом Егорова, – опять твой едет.

Она сказала «твой» нарочно громко, глядя на Олега. По дороге к магазину тарахтел Витькин газик.

«Боже мой», – подумала Анна, закрывая глаза. Газик встал подле автобуса. Актеры, выстроившись рядом, молча выжидали.

Виктор заскочил в магазин за папиросами и, выйдя, быстро все решил:

– Поехали ко мне. А что?! Молоко есть. Хлеб найдем. Мать моя всех накормит...

Мигом ссыпались в автобус. Олег тоже посерьезнел, быстро и правильно перестегивал пуговицы рубашки.

– А ты погоди, – оттолкнул его Валерка, закрывая изнутри дверцу, – попрыгай еще. Дети, поиграйте с артистом...

Дом Виктора, потемневший, бревенчатый, стоял высоко и крепко: просторная ограда с летней стряпкой, навес и беленая печурка с вмазанным в припечек ведерным чугуном, дальше к леску – дворовые постройки, черемуха у окна, ровный частокол с крашеной калиткой в огород.

Мать Виктора, востренькая старушка, выслушав сына, отерла о фартук руки.

– Че же они артистов не покормили. – И недоверчиво глядела вверх из-под выгоревшего платка синими встревоженными глазами. – Да что же там за начальство такое... а?

Наконец поняв, чего от нее хочет сын, и увидев входящих в ограду артистов, она испуганно ахнула, всплеснув руками.

– Господи, да чем же я кормить их буду? У нас ить ниче нету, сынок.

– Да ты что, мамка, молока у нас нет, что ли?

– Да они – телята, одно молоко хлебать?

В дом артисты не пошли, расположились у летней кухни, под навесом. Виктор ходил за матерью и выпрашивал у нее бражки. Мать молча погрозила ему кулаком, взяла в руки ведро, кликнула за собой Тюлькину – собирать огурцы. Виктор пошел в сенцы сливать из банок молоко в одно ведро. Гомолко ходил за ним вслед, что-то рассказывал и все пробовал молоко.

Антонина, следившая за ними, вздохнула нетерпеливо и отвернулась.

– Пойдем посидим, – дернула Анну за рукав Заслуженная.

– О-хо-хо! Земля-земелька. – Она покряхтела, усаживаясь на траву под черемухой, похлопала ладонью по земле. – Ох, я дремучая. Мне, чтоб устойчивее быть, надо ее, матушку, чувствовать, нахлопывать, оглаживать. В семьдесят третьем, дай бог памяти, в Москву мы ездили на фестиваль кукольников. Три дня я ничего еще... ходила. Все внове, изменилась Москва, расстроилась, современная такая. А потом не могу – давит. Оглянешься – эти коробки, коробки, цемент, народ, духота. Они же здоровые, дома-то, столбы, такие громадины. Как вверх посмотрю, мрет сердце. Вот так бы взял и отодвинул бы их, руками раздвинул бы... подышать. Мы ведь как здесь – встал вон поглядеть, до речушки сколько земли, а там вон пригорок, да еще лес, да еще за лесом дымка. Привыкает душа-то. Оттого у нас и песни такие, как воды, широкие, протяжные. – Она прилегла, закрывшись ладонью, и неожиданно тонко для своего большого тела пропела: – ... Ушел своей доро-гоо-ю. Другую зав-ле-ка-ать...

Виктор принес молока полное ведро. Гомолко осторожно разливал его по стаканам. На серую льняную ткань мать высыпала горку еще мелких пупырчатых огурцов, широкие перья зеленого лука, желтое летнее сало. Пошла еще за чем-то, но Антонина решительно остановила ее:

– Этим оглоедам, что ни дай – все сожрут. Присядьте лучше, отдохните с нами...

За огородом до мелкой илистой речки свежо зеленела низина, млея сладковатым парком подсыхающей травы небогатый покос на кочковатой стриженной земле. Вязкий, насыщенный воздух июльского полудня сонно плыл к лесу.

Летняя, сухая, дремотная деревенская тишь разошлась кругом. Анна, лежа рядом с Заслуженной, все смотрела на тягучее, полинявшее, странно осевшее небо и думала, как же теперь будет жить. О своей жизни, о смутном, недалеком будущем думалось тревожно. Думалось уже – куда она и как она, – как будто треснуло и разломилось у них с Олегом, по старым швам разошлось, и теперь надо думать по-другому.

– Сморил сон после обеда. – Заслуженная поставила белый из-под молока стакан и, поглядев прищуренно вокруг, вздохнула. – Вот жизнь человеческая. Всю я судьбинушку свою проколесила, проездила вот на таких драндулетах, а мечтала об усадьбе своей, огороде... Садочке... Ты знаешь, идеал моего счастья где? В «Старосветских помещиках». Ей-богу... Вот иногда придешь домой, хоть бы крыса, думаешь, завелась. Как родную бы кормила. Лягу вечером, глаза закрою, и поплывет... Домик беленый, хатенка, яблоньки, трава под яблоней. Двери скрипят-поют. И я со своим Максимом Иннокентьевичем... Так он мне и видится. Вот убили его, а я ровно с ним жизнь прожила. И рожала когда, и кормила, и плакала, и с куклами водилась, а все он передо мною. Я ведь его не все молодым представляла, а какой мой возраст, таким и он видится... Жизнь человеческая... Никогда по-твоему не сойдется... Что-нибудь да скособоцит. Чего-нибудь да не хватит. Русская баба как в молодости прикипит к кому сердцем, так и на всю судьбинушку хватит. А с чужим волком не споешь песни. Я вон от своего муженька хоть и рожала, и считай, всю молодость с ним, а все ровно чужой мужик. Все одно лопнет в один прекрасный день, лопнет и не склеится. – Заслуженная долго, испытывающе поглядела на Анну. Анна отвернулась.

Оленька вязала в тенечке у забора, неомраченный лобик ее светился чистой, ухоженной кожей. Она на минуту подняла голову от вязания и вдумчиво смотрела в даль огорода.

– Может, все-таки втачной?.. – спросила она Егорову, дремавшую рядом.

Егорова приоткрыла один глаз и сонно хрипнула:

– Ну, они сейчас в моде...

Оленька покачала головой:

– Нет, в реглане больше прелести. В нем больше женственности...

Гомолко один оставался за «столом», ненасытно хрустел огурцами за льняной скатертью, пил молоко и вытирал тыльной стороной ладони белые усы на губах. Одну Антонину не морил послеобеденный сон, она ходила с матерью Виктора по усадьбе, и старушка быстро рассказывала ей, останавливалась, показывала что-то на грядках, и Антонина слушала, поддакивала, подогревая разговор.

Шофер Толя и Валерка не вынесли дремотного такого жара, сняв рубашки, потащились полоскаться за огород. Виктор стоял, опершись о косяк двери в сенцах, и неотрывно наблюдал за Анной. Анна ответила ему долгим серьезным взглядом и повернулась к Заслуженной:

– Софья Андреевна, а где у вас муж?..

– Это долгая история. И незачем о ней говорить. Свой опыт к чужой жизни не пришьешь. Я вот раньше тоже всех слушала, все думала, послушаю, послушаю да жить научусь. Не слушай ты никого, Анька, и делай как знаешь. Всякой болезни свое лекарство нужно. – Заслуженная приподнялась, села, долго растирала припухшие на жаре ноги. – Сколько говорила себе: не объедаться. Не могу. Привычка, слушай, с голодных лет еще впрок наедаться... Помолчав, она прилегла снова и вернулась к разговору:

– Мы уже десять лет не живем. Мне пятьдесят вот, ну правильно, – ей скоро сорок... Пришла к нам девочка, девушка ли, как ее назовешь тогда. Возрастом-то она уже под тридцать была. Ну до того молоденькой казалась! Она сейчас-то как змейка еще, а тогда вовсе. Личико гладкое, нежное, глазки сияют. На одном месте не устоит. Училища она не кончала, так сна-

чала ходила. Потом бутафором, потом я ее натаскивала. Девка способная. Ничего не скажешь, живая, хватистая. Молодец. Она много у меня взяла. Ну а муженек-то мой и увлекся. Ясно дело – рядом со мной такая. Конечно, она высветит. Мы с ней дружили. Правда, она, как у них получилось, сразу призналась. Не обманула. Ну, ухарь мой молчит, и я молчу. Дальше – больше. Потом говорит, мол, так и так. Уйду... Иди, не на цепь же тебя сажать. Дети большие. Саша уже с мужем жила. Павлуша школу заканчивал. Чего держать? Кого удержала семья? Ушел. Жили у нее с полгода. Ну, я все эти полгода скушала, не подавилась, молчала, не пикнула. Здравсте – здравсте... И все. А потом что? Он старый уже мужик. Никаких в нем таких особенностей, а она молодая, красивая. По улице пойдет, хвостом вильнет, за ней тучами мужичье. Ясно дело, бросила она его. Он ко мне опять. Я ни в какую. Мыкался по общежитиям. Даже в театре ночевал. Ну, думаю, не чужой ведь – двадцать лет прожили. Ребятишки его. Внуки. Приняла. Ну пожилы, пока Павел не уехал учиться. А потом выгнала. Гнула я себя, гнула и так и этак. Понимала, что в жизни все бывает, что годы, что дети. Ум понимает, а сердце нет. Чужой человек. Ну и говорю: бери-ка вещи свои, забирай все, что считаешь твоим, – и выметывайся! Не будем мы жить. Ну что он, понял все. Меня-то вдоль и поперек, поди, знает...

– Это кто, – помолчав, спросила Анна, – Антонина была?..

Заслуженная помолчала, протянула руку к низко свисающей ветке, дернула ее, потом ответила:

– А я ее не осуждаю. Она женщина. Красивая женщина. Я вот в детдоме росла. Послевоенном. Голодные годы, но как мы жили! Что ты! Нас воспитывали, как рубили. Прямыми, без изгибов. Знаешь, как учили: семью бросил, значит, и Родину предашь. Такие страсти толковали. Женщина тебе товарищ, и никто более. Ну вот, моему бобру этот товарищ и подтер нос. Она о нем уже тридцать раз забыла и цветет. А он мыкается...

– А где Венька? – вдруг спросила, подходя, Тюлькина.

– Правда, где он? – проснулась Егорова.

Веньку нашли в углу, он спал, как сурок, уткнувшись носом в портфель, скукожившись и подрагивая.

– Ну, что будем делать-то? – спросил подошедший Валерка. Он был свежий, блестел помытыми волосами.

Заслуженная осторожно отерла крупный круглый пот на Венькином лбу и сказала:

– Что, что... отыграть надо. Все равно ведь придется. Сюда из-за одного спектакля не поедешь. Я предлагаю так. Сейчас в «Восход» – заночевать. С утра самого там спектакль, потом заехать в обед – долг отыграть и махнуть дальше. Поднатужимся, не впервой.

– А где Олега искать будем?

– Где ты его сейчас найдешь, поди, упорол куда-нибудь.

– Куда он денется, – ухмыльнулся Гомолко, – скоро нарисуетя.

Словно в подтверждение его слов, кто-то забухал в калитку. Олег ввалился в ограду, ткнул Валерке в лицо потные свои протертые носки.

– Купи носки. – И пьяно ухмыльнулся.

Анна, поглядев на него, поняла, что сейчас Олег по-настоящему пьян. Обычно такое жесткое лицо его расплылось, глаза, подернутые нездоровой мутной влагой, тяжело перекатывались по сторонам.

– Хватай его, мужики, и в автобус, чтоб не видел никто, – посоветовала Заслуженная. И пока они управлялись с Олегом, бесцеремонно скрутив его, Заслуженная, горестно глядя на Олега, покачав головой, заметила: – О-е-ей. Это же надо было, в такую жару глушить. И ради чего все... Чтоб доказать своей бабе, что ты лучше другого...

Виктор, видимо, понял связь между Анной и Олегом. Он не помогал мужчинам, а стоял в стороне, не сводил с Анны пристального взгляда.

– Я найду тебя, – сказал, подходя. Взял ее руку. Анна молча вздохнула, вывернула руку и, не глядя на него, вошла в автобус...

На нескошенном лугу, чисто поросшем густой, уже обмякшей под солнцем, цветочной травой автобус остановился. Выволокли за шиворот тяжело матерившего всех, кусавшегося и визжащего Олега. Валерка поставил его на ноги и с долгожданной усладой, от души вмазал ему в подбородок. Олег распластался на траве, глупо улыбаясь, но когда Анна, подлетевшая к ним, оттолкнула Валерку и крикнула: «Кого ты бьешь? Пьяного!» – Олег забарахтался, тяжело поднялся и с надрывной ненавистью, глядя на нее налитыми, желто-красными глазами, прохрипел:

– Уйди, – угрожающе шагнул на нее. – Ты переломала мне всю жизнь. Тихоня! Я больше ни на что не способен. Только вот с ними ездить... Зайку дергать за веревочку...

Анна попыталась еще сказать ему что-то, но он, как от заразы, брезгливо шарахнулся от нее, обошел и, шатаясь, направился к автобусу.

В пионерлагерь «Восход» прибыли к вечеру. Уже, сгущаясь, неторопливо оплывало небо, приглушая отсветы на близкой отсыревшей земле, а там, за рекой, в глубине, где-то под закатным солнцем, высветило березовый молочно-зеленый лес влажным вечерним сиянием. Мужчины молчаливо курили на траве под изгородью. Заслуженная неторопливо ходила взад-вперед по хвостой тропинке вдоль дороги, играя встревоженными карими глазами.

– Господи-батюшки, – сказала она подошедшей Анне, – и всего-то день прожила, денечек, а сколько перевероршилось ныне. Ох ты господи. Поднялось все из глубины, а кажется, уж давно, давно осело. Чужой жизнью казалось...

– Это я виновата, – глухо ответила Анна и отвернулась.

– Да, да, ты... – задумчиво вздохнула Заслуженная. – Виновата... что не утонула-то? Вот в чем ты виновата... Мать-то не зря приснилась, чует там в деревне. Старые люди – они иной раз, как собаки, прозорливые бывают. – Она походила, приглаживая волосы, и добавила: – Где тонко, там все равно порвется, где заболит, там все равно загниет. Как мать-то тебе сказала-то? И таблетки не помогут, так-то. Каждый свое лекарство должен поискать... – Она пошла медленно по тропинке, остановилась у березки, всей ладонью провела по чистой шелухе дерева, задрав голову, долго смотрела вверх. – Нет, – сказала она не то себе, не то Анне, – вру я все. Неблагодарная я старая перечница... Хорошо я живу... Неправда, хорошо живу...

Анна смотрела на нее и с грустью думала, что Заслуженная всегда так перескакивает в разговоре, за ее мыслью нужно пристально следить, чтобы понять...

Наконец появился Венька. Он вернулся с начальником лагеря, невысоким крепким мужчиной, моложавым и темноглазым.

– Гостям рады, – просто сказал он и быстрым движением короткой энергичной руки показал к воротам. – Прошу. Мужчин мы устроим в бане. Вторая смена. Лагерь переполнен. А женщины переночуют в красном уголке...

– Ну что. – Антонина показала на ступеньке автобуса. – Не приютят нас? – спросила она и, подняв вверх по дверце тонкую смуглую руку, сиятельно улыбнулась этому мужчине.

– Ну что вы, – ответил он ей. – Как можно?

И когда она пошла через калитку в лагерь, он все смотрел ей вслед и улыбался. На пути Антонина оглянулась и тоже улыбнулась ему.

Чистенькая, хорошенькая, как куколка, Оленька неспешно шла за Антониной. Никакое из событий нынешнего дня не омрачило ее духа, не вывело из равновесия. Светлое личико было столь же безмятежно, как и утром. Оленька добросовестно довязывала сегодня спинку своего свитера, и Анна знала, что она думает сейчас только о том, как вязать рукава. Вновь неприязнь к Оленьке шевельнулась в ее душе.

«А чем же ты сама лучше, – резко оборвала она себя. – Та хоть знает на все сто лет вперед, как ей жить. А ты даже, что будет завтра, ничего не знаешь».

Анна вздохнула и отвернулась от Оленьки. Валерка, вдохновленный мыслью о предстоящем ужине, предложил:

– Мужики, может, мы баню протопим?

– Да ты что, бог с тобой, – ответила Заслуженная. – В июле-то! Река вон рядом, купайся...

Тюлькина засмотрелась на начальника лагеря, потом ревниво глянула на Антонину и сказала:

– Мой муж говорит, что я похожа на Нефертити.

– Похожа свинья на быка, только шерсть не така, – бросил ей Гомолко, нервно пригладил волосики и прибавил шагу.

Егорова молчала. Она грустно глядела на Валерку. Валерка оглянулся на ее взгляд, поежился и дернул Веньку за рукав:

– Слушай, отгадай загадку, что это такое? – Он прокрутил перед собой двумя руками и, остановив их, показал Веньке фигу; потом прокрутил в другую сторону и снова показал фигу.

– Что? – И захохотал. – Спортлото, Веня...

Венька пальцем прижал очки к переносице.

– У младшего моего поносик открылся утром, – серьезно сказал он. – Я обещал в аптеку завернуть после работы.

– А, идите вы все, – вдруг психанул Валерка. – Поносики, гундосики. У меня дома тоже мать есть. Щей наварила.

Он злобно сплюнул и быстро зашагал прочь.

Ужинать ходили в столовую. Анна попыталась отказаться, но хозяин лагеря так решительно отменил все несмелые отнекивания, что пришлось встать и пойти. В столовой он сидел в стороне от всех и, не скрывая, наблюдал за Антониной. Антонина говорила без умолку, блестя круглыми глазами, смуглой лодочкой ладони рассыпала черные упругие волосы...

После ужина все были приглашены на танцы. Анна осталась одна. Заслуженная помячила было перед глазами, но, махнув рукой, видимо, решила, что Анне одной будет лучше сейчас, и тоже ушла со всеми. Анна легла в угол на матрас, брошенный прямо на пол, и глядела на белую звезду вверху окна, лучившуюся зыбким, мерцающим светом...

Нужно было передумать весь этот неслучайный, тяжело отвалившийся, как камень с души, день и понять, что же с ними случилось.

Спокойная ясность, казалось, выстудила душу, и Анна перебрала, перемыла в памяти все жесткие осколки дня. Она в который раз вспомнила сон, мать. С возвратившимся вновь нежным, пронзительным ощущением вспомнилось ей ночное небо в подсолнухах, горящий детской страстью их разговор о том, что будет... когда-нибудь...

Подумалось, что сейчас бы просто поплакать. Но слез не было. Сердце не ослабело.

Она закрыла глаза, и живой явью из полумрака приглушенными линиями выписалась мать. Доит корову. Потеплевшие жилистые руки упруго сжимают сосок. Молоко струйкой о дно подойника: дзинь-дзинь, дзинь-дзинь. Потом омыла последним молоком вымя коровы, обтерла его чистой марлечкой. Встала, поправила платок, медленно понесла ведро с пенистым пахучим молоком...

Анна открыла глаза и с беспощадным, ясным сознанием подумала, что ничего из теперешней ее жизни она не любит. Что живет она в чужом городе, с чужим ей человеком и занимается, быть может, чужим делом. Только потому, что не хватило сил стать тем, кем хотелось. Да и не детской ли все было блажью? А сейчас ясно одно, треснуло и переломилось что-то в ее судьбе. И по-прежнему больше жить нельзя...

Олег пришел поздно (он спал в автобусе, тщательно прикрытый от любопытного глаза фуфайками). Сел у порога.

– Там наши купаются, – глухо сказал он. – Пойдем...

Она шла за ним по узкой, мокрой от росы тропинке, глядела на его острый, мальчишеский, напряженно-ершистый затылок. Возбужденные сильные голоса неслись с реки. Спокойное, чуткое, живое небо горело белым жаром звезд, особенно ярким в густой ночной черни воздуха.

Все были у реки. Тюлькина мягко, как корова, вошла в воду, легла поверх большим белым телом, размашисто, отфыркиваясь, поплыла. Егорова плыла уже далеко от берега, у той границы, где тает свет, и видна была только ее задранная вверх голова. Венька следил за нею и, нервно суетясь, кричал:

– Вернись, Егорова, слышишь! – И даже забегал в воду.

Антонина, задумавшись, ходила по берегу, и легкое ее, удивительное тело тревожило молодыми диковатыми движениями.

Начальник лагеря сидел поодаль на траве и, приложив подбородок к коленям, следил неотступно за нею.

– Присядем? – тихо спросил Олег.

Анна села на траву, почувствовала ночную сырость от земли, подобрала под себя ноги.

– Так что произошло-то? – хрипло начал Олег. – Я не могу ничего понять...

Она молчала, глядя, как собирает горстями воду на ноги Заслуженная.

– Неужели ты просто терпела меня?.. Ради чего... Страшная же ты...

Валерка, нырнув сзади Тюлькиной, видимо, ухватил ее за ногу. Тюлькина обернулась и так оглушающе завизжала, закричала, забилась, что Валерка, вынырнув, долго и раздраженно отфыркивался и крутил у виска толстым пальцем.

– Ну и дура...

Анна встала.

– Анна, – удержал ее Олег. – Ну, что же мы? Как?

Она обернулась и, с жалостью глядя на него, спокойно вздохнула:

– Да никак, Олег. Неужели тебе не ясно?

– Что, к этому шоферу уйдешь?

Анна усмехнулась и, помолчав, вздохнула.

– Ничего-то ты не понял, Олег.

И не спеша пошла вдоль берега.

– Я все равно к тебе приеду! – крикнул он ей вслед. – Я н-найду тебя. М-мы уже никак порознь. – Он хотел еще что-то добавить, но не смог, вдруг начал заикаться, махнул рукой и уткнул лицо в колени.

Заслуженная тяжело поднялась ей навстречу.

– Смотри, – показала она рукою вдаль. – Глянь, как высветило...

Косым светом от луны выхватило две березы из темени. Они неподвижно серебрились, паутинно мерцали.

– Красота-то какая! – Она вздохнула. – Ноги горят нынче, поясница отваливается. А все думаю: праведный, дай пожить еще, походить своими ногами. Мне кажется, что я с годами и чувствую-то острее... Ишь как вызвездило... Вроде каждую ночь такое небо над головой, а будто только что увидела...

Анна молча обняла ее, поцеловала в мягкую щеку и пошла по тропе в лагерь.

На крыльце сидела Оленька, что-то слушала, поджав колени к подбородку.

– Я не помню, – спросила она, – кузнечики стрекочут ночью?

– Я тоже не помню, – ответила Анна, входя в комнату.

– Ты знаешь, я сейчас подумала, – продолжала Оленька, входя за нею следом, – что они даже не представляют про нас. Понимаешь, им в голову не приходит... Про людей...

– Кому в голову не приходит?

– Кузнечикам!

– Да, наверно, – медленно ответила Анна и подошла к окну. Голоса с реки блуждали и гасли в темноте.

Где-то рядом протарахтел и остановился у окна газик. Желтый свет фар вырвал из темноты округлый кусок земли, осветил серую стенку деревянного домика напротив. Испуганно шарахнулась потревоженная кошка от стены, и в темноте, в кустах, зажглись два зеленых фосфорических огонька. Дрогнула, словно под ветром, примятая увлажненная трава и затихла...

1979

Шестидесятники

...Сумерки он не любил. Матерые, по-северному пронзительные, они оцепляют деревеньку, как волки, медленно подкрадываясь к ней длинными серыми тенями, а потом броском, тайно хлынут, забивая дворы рыхлою сырою тьмою. В Егоркино всегда загораются холодным закатным заревом окна сапожниковского дома, единственного застекленного в мертвой деревне. Он стоит наособицу, на пригорке, ликом к небу и как бы вчитывается в приближающиеся с закатом небесные знаки. Эдуарду Аркадьевичу кажется, что тоску начинает источать именно этот дом, громадный, рубленный как нахохленная птица, с коньком-клювом и со своими белыми, зловеще вспыхивающими на закате окнами, а потом уже вся деревенька, медленно вставшая во тьму, начинает тосковать своими еще живыми незримыми глубинами, и он ощущал эту тоску физически. Иногда перед закатами Эдуард Аркадьевич слышит лай собак, крик кочетов и мычание коров. Слушает спокойно, зная, что так бывает в мертвых деревнях, но это тоже знаки тоски и сумерек.

Стоит нежный, лучистый октябрь. Земля еще цепляется за остатки тепла, как женщина на исходе своих лет поражает иногда кроткою со щербинкой нежностью. Еще не совсем разделся лес, и в полуголом березняке рыжеет осина, багрово кровянит краснотал и как-то откровенно, бесстыдно дразнят кровавым рубином гроздья рябины. В заросших желтеющих огородах по оставшимся заплотам ползет мокрица, сочная, зеленая, серым свинцом наливается польнь, и чистотел желтыми звездами прорастает сквозь крапиву. Огороды уже зарастают орешником, подростом березняка, светящегося молодой желтизной, на сгнивших крышах алеет иван-чай, и кое-где еще дикими зарослями вырождается малина. И среди этой петушиной ярмарки суровой серебристой чернью отливают листвяк.

Осенний день короток, как вздох. И пока стоит на промытых свежих небесах крепкое осеннее солнце, пока горят леса, странную осознанную силу набирают воды незлобивой Мезени. Лопотунья в обыденности, она вдруг затихает в эти часы, как бы нарастая изнутри густым синим подшерстком, и особенная рябь сближает ее с замершим перед небесами зверенышем. Без ветра она расслабляется, спокойная, зрелая, глубокая, плывет, как пава, и Эдуарду Аркадьевичу, который часто сидит под солнышком на ее обвалистом берегу, иногда кажется, что он различает обрывки ее беседы с небесами. Странно и страшно здесь живет ему. Странна, дика и несообразна ни с какими физическими законами кажется ему природа. Эти могильные ночи, черные и косматые без луны, а если луна появляется, то ее громадность, без матовости, яркий нестерпимый блеск пугает так же, как и непроглядная тьма. С началом сумерек он все вглядывается сквозь окно в мертвые проемы мертвой деревни, и ему кажется, что не тьмою зарастает она, а самим временем, которое, как песок, зароем скоро ее, а вместе и он, Эдуард Аркадьевич, останется на дне этой могилы, заживо погребенный тьмою и временем. Если, конечно, не вернется Иван. А ведь когда-нибудь так может случиться, и Иван не вернется, и Эдуард Аркадьевич останется один на один с этой чуждой ему русской деревней, брошенной на смерть так же, как и он. Знала бы о его кончине мать, думал он.

Его матушка Серафима Федоровна – душистое чудо детства, одна из тех, кто составлял мудрость и честь исчезнувшего поколения. Она была без всяких натяжек красавица. Высокая, статная, с роскошью черных толстых, с кулак, и длинных, до пят, кос, с которыми она не рассталась до самой смерти, с густыми бархатистыми бровями... Недаром отец ради нее, несмотря на все угрозы и происки, отсекся от своего еврейского клана и, кажется, за жизнь ни разу не пожалел об этом. Кроме того, она была разумна до расчетливости и крепка во всем. Громадное по тем временам для города хозяйство лежало на ее плечах. И вела она его безукоризненно. Чего стоило одно только ее крахмальное белье. Эти скрипящие тугие полотенца... У нее была только одна слабость. Мечта о блестящем музыкальном будущем сына... Она так и видела

Эдичку со скрипкою на сцене, а себя в зале... Ей не давала покоя слава Ван Клиберна... Эта ее слабость во многом лишила детства Эдичку... И если бы она знала, что столько трудов, времени, средств – все прахом, что ее Эдичка будет доживать никому не нужным приживалом не в столице, а в мертвой русской деревне, такой же заброшенной, как и он сам, медленно вымирая от голода и холода!..

Эдуард Аркадьевич все солнечное время этих дней проводил на обочине проселочной дороги в ожидании Ивана. С утра, послонявшись по пустому дому, заглянув в холодный и гулкий от пустоты амбар, он гляделся в бане в осколок толстого зеркала, вправленный в бревно предбанника, чесал костлявой пятернею клочковатую, узкую, как у козы, бороденку, надевал на пегую от седины голову потертый серый берет и шел в дом искать очки. Они ему не нужны, иногда мешали, но он привык носить их, выходя на люди, как он считал, для пристойности. Очки старые уже мутили, дужка переносицы сломана и неумело забинтована синей изолентой, и когда Эдуард Аркадьевич их надевал на свой увесистый – вниз – нос, то его серые близорукые глаза становились круглыми, большими и детскими. Потом он старательно чистил грязной столовой тряпкой когда-то зеленый военный плащ, подаренный ему еще матерью, и, размазав засаленную ткань, пригладив височки, выходил на улицу. Плащ просторный и длинный, раздувается на нем, как балахон, путается в ногах. В нем Эдуард Аркадьевич кажется еще длиннее, чем есть, хотя и без того он высок ростом и сутул, и голова его с плотным крупным носом свисает впереди тела, как подсолнух, чуть покачиваясь. Ходит он ровно посредине улицы, не опираясь, но размахивая самодельною тростью, выструганною Иваном, с изразцами и березовым капом вместо набалдашника. С этой тростью он не расстанется никогда. И часто, расчувствовавшись, утирает гладкою плотью гриба свои горячие, старческие слезы.

Вторая неделя без Ивана движется медленно, каждым своим часом измощая его. Кончились деньги, хлеб и сахар, махорка – и та кончилась, и он уже не ходит в Мезенцево побираться у продавцов и сельчан, потому что никто ничего не дает и не подаст. Иногда по случайности или ошибке на поселковую дорогу выскочит потрепанный райковский «бобик», поерзает по красным глиняным ухабинам, заурчит над ухом, обдавая горячим и едким... Не остановится. Остановится заблудшая, как овца, чья-нибудь чиновничья «Волга» или редкий, но давно знакомый этим дорогам зловеще высверкивающий, как щука в заводи, плотными боками новорусский «мерседес». Тогда Эдуард Аркадьевич, путаясь в словах и размахивая тростью, будет горячо и туманно разяснять, почему заблудились «они», и те бритоголовые, крутые, в длинных дорогах пальто будут молча с опаскою смотреть на него, как на фантом из другого мира, неожиданно возникший посреди заброшенных деревень. А Эдуард Аркадьевич, торопясь и захлебываясь словами, все пытается напомнить о куреве, неловко, как бы между прочим, говорит о хлебе и другой нужде. Иногда ему перепадает, чаще он слышит мягкий стук закрывающейся дверцы, и удивляясь этому шуршащему блистающему чуду, проплывающему мимо него, он бежит за ним, взмахивая тростью и договаривая непонятное ни ему, ни тем, мягко отдаляющимся от него. Потом он возвращается, свесив сплющенное яйцо своей головы, и все говорит про себя, читает стихи, или плачет, завидев мелкий косяк птиц в высоком небе, со слезами шепчет: «Полетели, родимые. Милые вы мои, милые...» Плачет он часто. Без Ивана особенно часто, потому что Иван пересмешник, и он с ним бодрится.

Деревенька, по которой проходит Эдуард Аркадьевич, и жилища-то была махонюшкой, но он помнит ее еще веселой, звенящей, с желтым, как масло, легким деревом в солнечную благодать и подобранную, нарядную еще... В семидесятых годах прошлого века Егоркино признали неперспективную деревенькою. Приговор смертный. Убрали школу, потом магазины, отключили электроэнергию. В восьмидесятых еще доживали в деревне кое-какие старики, а, кроме того, ее оживил короткий дачный бум. Городская интеллигенция за бесценок скупала пустые усадьбы, приезжая в деревню летом. И несколько беспечных и звонких лет здесь слышалось детское щебетанье и гудели машины, и горели костры, и ходили по тропкам разомлев-

шие полуголые дамы, волнуя и вдохновляя его. Тогда они с Марго еще дружили и ночами просиживали у костра, говоря без умолку. Сколько пьяной дребедени нашептал он ей в охочее до сальностей, крайне любопытное ушко. Язык тогда у него был мастеровит и отточен на этих глупостях. Марго была уже замужем за своим игрушечным Зямой и воображала Эдуарда Аркадьевича своим верным и пожизненным оруженосцем, бесконечно влюбленным в нее. И он от суетности своей и безделия подыгрывал ей... и доигрался. Эдуард Аркадьевич вспомнил их последнее свидание с Марго. Как она выговаривала ему, милостью подавая ничтожную сумму за его комнату. Кривила при этом плотные, как подошва, крупные губы, источающие яд, а он – сизо-серый с похмелья, униженный, с обвисшими подглазьями, в потрепанном Зямином пиджаке, теснившем его, как второгодника-переростка, – смотрел на нее через аляповато оформленное тяжелой бронзой зеркало, холодно изумляясь тому, что вот эта усатая жишовочка, которая сейчас гневно колышет перед ним всем своим сырым, оплывшим телом посреди когда-то и его громадной квартиры, забитой перетянутой атласом мебелью с грузными амурами в дорогом багете, это и есть та самая Марго, когда-то нежное волоокое создание с лилейной шейкой и кошачьей грацией, на которой он едва не женился. И неужели с нею аж в долялькин период, беспредельно мечтательные и романтические, они захлеб читали стихи, многозначительно взглядывая друг на друга и замолкая посреди разговора? А теперь она, картаво грассируя, кричит о своей высокой жертвенности и его неблагодарности. Грассировать она выучилась в последние годы, когда начала изображать себя из дворян, съездила в Питер, понахваталась там одесской благоты, выдавая ее за дворянскую культуру...

А тогда она купила эту усадьбу, поселив в ней Эдуарда Аркадьевича как сторожа, домового, своего вечного воздыхателя. К этому времени жизнь у него рухнула. Он ушел из семьи, института, поболтался в туристских походах, подвизаясь на легком и веселом хлебе этого агентства. Но и биваки случайного знакомства таких же, как и он, катившихся по жизни, как перекасти-поле под ветром, и короткие и легкие любви, ни к чему не обязывающие, почти механические от однообразия, приелись ему, и деревенька показалась Эдуарду Аркадьевичу крошечным раем, местом обетования и покоя. Тогда же Софья, его жена, по совету своей свекрови путем сложных и непонятных манипуляций обменяла квартиру себе с сыном и комнату в коммуналке для Эдуарда Аркадьевича. Дом, в котором он жил, сталинский, с просторными квартирами, высокими потолками, чистыми обустроенными подъездами, и его комната в соседстве с одинокими стариками, которые вскоре покинули этот свет, очень заинтересовали Марго. Однажды, как бы между прочим, закинула, что готова помочь ему и достать хорошие деньги под его комнату. А договор о купле-продаже ее будет как бы фиктивным. «Это условности, которые нужно соблюсти». Он гораздо позднее узнал, что комнаты стариков она к тому времени уже «прихватизировала». Сумма, ею предложенная, показалась Эдуарду Аркадьевичу фантастически громадной. Думалось, что ее хватит на всю жизнь до последнего дня. С избытком... Она и этой-то суммы не выплатила на треть, предложив ему вместо нее «заведовать» дачей: стеречь, садить и ухаживать за огородом и привозить ей урожай на дом. Так он и остался в деревне Егоркино, куда вскоре вернулся к родительскому очагу Иван. Старики в деревне повымерли, либо их разобрали по городам дети. Дачникам поездки в деревню стали не по карману. Они постарели, дети повзросли и не рвались сюда. Так они и остались вдвоем с Иваном. Пенсию Эдуард Аркадьевич не получал. Можно было выхлопотать какую ни на есть, но для этого тоже нужны деньги и ноги. А ни того, ни другого в наличии не было. Да и останавливаться у Софьи всегда было тягостно... За последние годы он продал на росстани, проел и пропил сначала все вещи Марго, весь «а ля» «русский антиквариат», который она старательно сюда свозила под его дремлющее око. Потом пошел шарить по деревне... И при удачной продаже они с Иваном, бывало, «гудели» по два-три дня. Теперь уже все продано... Им еще помогал Гера Руцкой, бывший журналист, теперь предприниматель, травивший местных старух американскими окорочками. Тот время от времени делал наезды на своем «мерседесе»

по местным мертвым деревьям, откуда он сам был родом, но не для продаж. Для подарков городским снобам и приезжим знаменитостям. Иван считал, что пропивать честнее. Они оба не любили этого Геру... Вот так и доживает он приживалом русской деревни и Ивана. У того пенсия, которую он ездит получать раз в два-три месяца, какие-то акции, с которых он худобно стрижет дивиденды, и сын, и невестка, и внучка в городе, и могила жены здесь, на Егоркинском погосте... Иван богаче. У Эдуарда Аркадьевича тоже сын и внук, но какие-то не такие. Чуждые. Как говорит Иван – ушли в евреи. А он вот тут. И не тут, и не там...

Этот день не удивил и не обрадовал Эдуарда Аркадьевича. Солнышко пригрело его на обочине проселка, посреди новой зелени травы, и он, любовно погладив ее, сказал: «Куда ты прешь, дура! Ну куда вылезла. Заморозит ведь. А...»

Мимо проехал Гера, кивнув ему вздутой головою с казацкими усами и надменно усмехаясь. Не было Ивана. Как только тени от близкого лесочка поползли на дорогу, он встал и пошел по ее каменистой припыленной середке. Дойдя до крайней усадьбы, он еще раз оглянулся с надеждою на дорогу. Небо у горизонта уже сливалось с землею, и кромка их соития густо и влажно темнела. Небесная синь налилась и в самой сердцевине своей уже отсвечивала коротким и трепетным закатом. Дорога потемнела посреди желтизны увядших трав и полууголого леса и была пуста и собрана под близким устрашающим небом. Перед закатом особенно тоскливы разрушенные усадьбы, и первая из них – бобыля Никифора – уже источала вместе с тенью едва уловимый женственный плач. Эдуард Аркадьевич прибавил шаг. Он помнил старика Никифора. Это был высокий, белый, с лунным отливом, очень красивый старик, и Эдуард Аркадьевич удивлялся его бобыльству. Он и старух-то в Егоркино помнит очень активными, дошлыми до семьи. А вот Никифор прожил бобылем. Говорили про какую-то романтическую историю его юности, но Эдуард Аркадьевич склонялся к другой, более прозаичной и правдивой: что война порушила его мужские способности. Вот и просидел Никифор остаток жизни один на своей лавочке подле ворот, сухим стерженьком. Белый-белый старец... Никифорова усадьба рухнула первой. Может, оттого, что еще при жизни хозяина она не имела должного ухода, да еще крайняя. Ее первую начали разбирать заезжие... А вот – три «девицы-сестрицы», как он называл крепкие и как бы спаенные усадьбы подле бывшего памятника погибшим фронтовикам (успела ведь деревенька обрести его в годы брежневской кампании). Эти подобранные, крепенькие звенели в обнимочку белым крупным деревом. Легкие, веселые, простые, как слово «мать». Он любил сидеть подле этой «животворящей троицы» на белой лавочке. Казалось, что это сидение давало ему надежду и силу. Он и сейчас сел на приземистую белую лавку, оперся спиною о нагретый солнцем заплот. Нога поднывала, плохой знак, и Эдуард Аркадьевич, подняв военное сукно зеленых брюк, погладил больное место сухой, по-птичьей узкой ладонью. Спину пригрело от заплота, и он подержал под солнцем худое, синеватое от голодной старости лицо. Припекало нежно, ласково, и он задремал совсем ненадолго, как бывало с ним теперь часто, минут на двенадцать, но в глубокой вязи смутного сна – едва забрезжили ее очертания. И он заволновался, рванувшись к ней, и от волнения проснулся, открыл глаза. Тишина стояла смертная. Даже дыхание ветра прекратилось, птицы – и те не щебетали, беззвучно прорезая воздух. Эдуард Аркадьевич встал, теребя гладкий ствол трости, откинув ее, пошел прочь от «Троицы», потом вдруг вернулся и вновь сел на лавочку. «Отчего это осенью так синеют реки? – обреченно подумал он, глядя на реку. – Должно же быть этому объяснение».

Сойка, пролетавшая над соседним двором, задрезжала в выси, затрещала недовольно и властно, и он вздрогнул, встал и пошел, тяжело опираясь на трость. Нога вдруг заболела, и каждый шаг давался с трудом.

– Это оттого, что воздух становится тонким, – сказал он вслух. – Его мало. Да листва мертва пала. – Листва не вырабатывает кислорода. – Он знает, был когда-то биологом. – Уж это-то я как-нибудь объясню... О господи, что я, зачем! О чем я?! О господи, боже ты мой!

Он бормотал себе под нос, шел, опустив голову, взмахивая тростью. От жестяного шарканья его шагов по каменистому проселку из дворов со щебетом взлетали стайки веселых синиц и долго потом счастливыми пестрыми зонтами каруселили вокруг усадеб.

– Она всегда приносила мне несчастье, – сказал громко Эдуард Аркадьевич. Наконец-то смута его души, вызванная сном, оформилась в мысль: – Да-да, и болезни. – Он нагнулся, потер ладонью разболевшуюся ногу. – Всегда!

Тут он увидел белое сухое бревнышко у обочины дороги и, проковыляв немного, поднял его. Бревнышко было легким, теплым от солнышка, а запахом чуть горчило. Он прижимался к нему щекою, и оно некоторое время грело ему ухо. Рука уставала, и плечо под бревном саднило, но Эдуард Аркадьевич стойко переносил боль. В его дворе уже щепки все были сожжены. До леса далеко, а усадьбу рушить Иван запретил. Да он и сам за годы проживания в деревне научился относиться к брошенным дворам как к живым, определяя их характер и иногда разговаривая с ними. Одиночество всему научит. Что делать! С кем-то ведь надо разговаривать!

Добравшись до своего двора, Эдуард Аркадьевич оглянулся на деревню. Оплывающее сумерками небо уже застило крайние усадьбы. Закат был бледен, млея ясной полоской над побелевшим лесом. И деревня, как всегда на закате, вдруг подобралась, сжимаясь в плотное стадо, поднимая к небу коньки над крышей. Эдуард Аркадьевич, как выброшенная рыба, хватанул воздух и заскочил в свой двор. Даже про боль в ноге забыл на секунду. Сел отдышаться на завалинку, похлопал по пустому карману, нервно пошарил в нем, нащупывая крошки табака, и, не найдя их, понюхал палец, который больше отдавал затхлостью его сыроватого кармана, чем табаком. «К Дубу поеду, – с тоской подумал он. – Хватит! Сдохнешь тут. Вон та дура сожрет».

Клеопатра – серая крыса – как всегда, вышла ему навстречу, вращая своим суетливым носом, взглядывая на него умными, едкими глазками, она сделала на его глазах обычный «круг почета», потом встала напротив, ожидая подачки. Гостинцем он и приручил ее, когда-то еще в те жирные времена, когда скармливал ей остатки сыра и кружочки колбаски. Крыса оказалась умной, злобной и наглой. «Когда-нибудь на меня кинется, – подумал он, глядя на ее беспрепятственно вибрирующий нос. – Сколько же ей лет? В переводе на человеческий, наверное, столько же, сколько мне. И Клеопатра ли она?! Скорее всего, Клеопатр, крысят я не видал ни разу!..»

– Ну, чего, дура, уставилась? Я сам жрать хочу, – сказал он ей своим очужелым голосом, которого иногда в бездне своего одиночества пугался. – Сожрала мою картошку. Сlopала, не подавилась... Падла!

Крыса словно поняла, юркнула в огород, и Эдуард Аркадьевич, глядя на ржавые остова картофельной ботвы в конце огорода, подумал, что картошку выкопать все-таки надо. Семенной ее еще весной дал ему Иван. И помог вскопать огород, и Эдуард Аркадьевич с азартом и гордостью ухаживал за нею, ползая на карачках, чтобы руками выбрать проклятый мокрец. В сентябре он накопил два куля картошки и, решив, что ему ее хватит теперь на жизнь с гаком, забросил деляну и не выходил в огород. Но Клепа подобрала картошку быстро. Да и ему, как прижало, пришлось на картошке одной сидеть, и он подъял ее. Так что оставалось всего с полведра. Это единственное, что осталось у него из еды. Благо, что на днях, роясь в шкафу, он наткнулся на увесистый сверток из старой мешковины. Оказалось, соль, которой он еще той зимой прогрел себе поясницу. Коричневая от перегрева, землистая, но соленая. Он наслаждался ею два дня, соля картошку и остатки сухарей, которые обнаружил на печи у самой трубы, на притуле под потолком. Вернее, сыскала Клеопатра, и он, услышав хруст, огрел ее палкою, впервые за все годы их жизни. Крыса не появлялась в доме дня три. Потом пришла, осторожная и злая... А картошку он докопает!

«Завтра! – решил он. – Не пойду больше на дорогу. Мимо деревни не проедет Иван... Чего зря ходить! Завтра буду копать картошку. А то сдохну с голоду», – у него всегда так: три думки на уме. И все разные. Глазницы сапожниковского дома уже загорались холодным

закатным огнем, приобретая страшную и живую осмысленность. «Нет, – перерешил он, – к черту картошку, Ивана!.. К Дубу! К Дубу!» – понюхал еще палец и пошел в дом.

Как ни мало было бревнышко, а печь согрелась и вода вскипела, и сварилось несколько картофелин, которые он съел с грязноватой солью. Попил кипяток с сухариком. Последний сухарь – коричневую засохшую корочку – оставил на столе, заботливо прикрыв ее полотенцем. Еще оставалось несколько картофелин. На завтра. Вечера Эдуарда Аркадьевича проходили при луне, если появлялась она в неверном свете крупных северных звезд. Керосин кончился давно. Его привозят в Мезенцево по четвергам, но нет денег и Ваньки, и нет здоровья, чтобы добраться до Мезенцева и выпросить у здорового усатого бугая-шофера литр этой вонючей жидкости. Но все же вечер с мягким теплом от пусть плохо, но вытопленной печи и светом громадной луны был хорош. Эдуард Аркадьевич посвистел Клепу, но та не пришла, и он глянул в окно на серебристый от лунного света, уже мерцающий первыми морозцами какой-то отчужденно-похорошевший двор. Луны еще не было видно, вот-вот выкатится из-за сопки, страшная от своей громады, ослепительная, зияющая. Она не даст спать всю ночь, живым ковчегом передвигаясь по высокому стройному небу. Только здесь, на севере, в краю этой суетно-ленивой реки Лены бывают такие луны, такие звезды и солнце.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.